





Иван ТУРГЕНЕВ



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ РАССКАЗОВ И ПОВЕСТЕЙ В ОДНОМ ТОМЕ



Издательство
АЛЬФА-КНИГА
Москва
2018

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)1-я5
Т87

Серия основана
в 2007 году

К 200-летию со дня рождения

Тургенев И. С.

Т87 Полное собрание рассказов и повестей в одном томе. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2018. — 1276 с.: ил. — (Полное собрание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-2692-8

В одном томе публикуются все рассказы и повести одного из выдающихся писателей XIX века, классика русской литературы Ивана Сергеевича Тургенева (1818—1883).

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)1-я5

ISBN 978-5-9922-2692-8

© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2018

ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

ХОРЬ И КАЛИНЫЧ

Кому случалось из Волховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти; калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. Орловская деревня (мы говорим о восточной части Орловской губернии) обыкновенно расположена среди распаханых полей, близ оврага, кое-как превращенного в грязный пруд. Кроме немногих раakit, всегда готовых к услугам, да двух-трех тощих берез, деревца на версту кругом не увидишь; изба лепится к избе, крыши закиданы гнилой соломой... Калужская деревня, напротив, большею частью окружена лесом; избы стоят вольней и прямей, крыты тесом; ворота плотно запираются, плетень на задворке не разметан и не вывалился наружу, не зовет в гости всякую прохожую свинью... И для охотника в Калужской губернии лучше. В Орловской губернии последние леса и площадь¹ исчезнут лет через пять, а болот и в помине нет; в Калужской, напротив, засеки тянутся на сотни, болота на десятки верст, и не перевелась еще благородная птица тетерев, водится добродушный дупель, и хлопотунья куропатка своим порывистым взлетом веселит и пугает стрелка и собаку.

В качестве охотника посещая Жиздринский уезд, сошелся я в поле и познакомился с одним калужским мелким помещиком, Полутыкиным, страстным охотником и, следовательно, отличным человеком. Водились за ним, правда, некоторые слабости: он, например, сватался за всех богатых невест в губернии и, получив отказ от руки и от дому, с сокрушенным сердцем доверял свое горе всем друзьям и знакомым, а родителям невест продолжал посылать в подарок кислые персики и другие сырые произведения своего сада; любил повторять один и тот

¹ «Площадями» называются в Орловской губернии большие сплошные массы кустов; орловское наречие отличается вообще множеством своебытных, иногда весьма метких, иногда довольно безобразных слов и оборотов.

же анекдот, который, несмотря на уважение г-на Полутыкина к его достоинствам, решительно никогда никого не смешил; хвалил сочинения Акима Нахимова и повесть «Пинну»; заикался; называл свою собаку Астрономом; вместо *однако* говорил *одначе* и завел у себя в доме французскую кухню, тайна которой, по понятиям его повара, состояла в полном изменении естественного вкуса каждого кушанья: мясо у этого искусника отзывалось рыбой, рыба — грибами, макароны — порохом; зато ни одна морковка не попадала в суп, не приняв вида ромба или трапеции. Но, за исключением этих немногих и незначительных недостатков, г-н Полутыкин был, как уже сказано, отличный человек.

В первый же день моего знакомства с г. Полутыкиным он пригласил меня на ночь к себе.

— До меня верст пять будет, — прибавил он, — пешком идти далеко; зайдемте сперва к Хорю. (Читатель позволит мне не передавать его заиканья.)

— А кто такой Хорь?

— А мой мужик... Он отсюда близехонько.

Мы отправились к нему. Посреди леса, на расчищенной и разработанной поляне, возвышалась одинокая усадьба Хоря. Она состояла из нескольких сосновых срубов, соединенных заборами; перед главной избой тянулся навес, подпертый тоненькими столбиками. Мы вошли. Нас встретил молодой парень, лет двадцати, высокий и красивый.

— А, Федя! Дома Хорь? — спросил его г-н Полутыкин.

— Нет, Хорь в город уехал, — отвечал парень, улыбаясь и показывая ряд белых, как снег, зубов. — Тележку заложить прикажете?

— Да, брат, тележку. Да принеси нам квасу.

Мы вошли в избу. Ни одна суздальская картина не залепляла чистых бревенчатых стен; в углу, перед тяжелым образом в серебряном окладе, теплилась лампадка; липовый стол недавно был высоклен и вымыт; между бревнами и по косякам окон не скиталось резвых прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов. Молодой парень скоро появился с большой белой кружкой, наполненной хорошим квасом, с огромным ломтем пшеничного хлеба и с дюжиной соленых огурцов в деревянной миске. Он поставил все эти припасы на стол, прислонился к двери и начал с улыбкой на нас поглядывать. Не успели мы доесть нашей закуски, как уже телега застучала перед крыльцом. Мы вышли. Мальчик лет пятнадцати, кудрявый и краснощекий, сидел кучером и с трудом удерживал сытого пегого жеребца. Кругом телеги стояло человек шесть молодых великанов, очень похожих друг на друга и на Федю. «Всё дети Хоря!» — заметил Полутыкин. «Всё Хорьки, — подхватил Федя, который вышел вслед за нами на крыльцо, — да еще не все: Потап в лесу, а Сидор уехал со старым Хорем в город... Смотри же, Вася, — продолжал он, обращаясь к кучеру, — духом сомчи: барина везешь. Только на толчкаб-то, смотри, потише: и телегу-то попортишь, да и барское черво беспокоишь!» Остальные Хорьки усмехнулись от выходки Феди. «Подсадить Астронома!» — торжественно вос-

кликнул г-н Полутыкин. Федя, не без удовольствия, поднял на воздух принужденно улыбающуюся собаку и положил ее на дно телеги. Вася дал вожжи лошади. Мы покатали. «А вот это моя контора, — сказал мне вдруг г-н Полутыкин, указывая на небольшой низенький домик, — хотите зайти?» — «Извольте». — «Она теперь упряднена, — заметил он, слезая, — а всё посмотреть стоит». Контора состояла из двух пустых комнат. Сторож, кривой старик, прибежал с задворья. «Здравствуй, Миняич, — проговорил г-н Полутыкин, — а где же вода?» Кривой старик исчез и тотчас вернулся с бутылкой воды и двумя стаканами. «Отведайте, — сказал мне Полутыкин, — это у меня хорошая, ключевая вода». Мы выпили по стакану, причем старик нам кланялся в пояс. «Ну, теперь, кажется, мы можем ехать, — заметил мой новый приятель. — В этой конторе я продал купцу Аллилуеву четыре десятины лесу за выгодную цену». Мы сели в телегу и через полчаса уже везжали на двор господского дома.

— Скажите, пожалуйста, — спросил я Полутыкина за ужином, — отчего у вас Хорь живет отдельно от прочих ваших мужиков?

— А вот отчего: он у меня мужик умный. Лет двадцать пять тому назад изба у него сгорела; вот и пришел он к моему покойному батюшке и говорит: дескать, позвольте мне, Николай Кузьмич, поселиться у вас в лесу на болоте. Я вам стану оброк платить хороший. — «Да зачем тебе селиться на болоте?» — «Да уж так; только вы, батюшка, Николай Кузьмич, ни в какую работу употреблять меня уж не извольте, а оброк положите, какой сами знаете». — «Пятьдесят рублей в год!» — «Извольте». — «Да без недоимок у меня, смотри!» — «Известно, без недоимок...» Вот он и поселился на болоте. С тех пор Хорем его и прозвали.

— Ну, и разбогател? — спросил я.

— Разбогател. Теперь он мне сто целковых оброка платит, да еще я, пожалуй, накину. Я уж ему не раз говорил: «Откупись, Хорь, эй, откупись!..» А он, бестия, меня уверяет, что нечем; денег, дескать, нету... Да, как бы не так!..

На другой день мы тотчас после чаю опять отправились на охоту. Проезжая через деревню, г-н Полутыкин велел кучеру остановиться у низенькой избы и звучно воскликнул: «Калиныч!» — «Сейчас, батюшка, сейчас, — раздался голос со двора, — лапоть подвязываю». Мы поехали шагом; за деревней догнал нас человек лет сорока, высокого роста, худой, с небольшой загнутой назад головкой. Это был Калиныч. Его добродушное смуглое лицо, кое-где отмеченное рябинами, мне понравилось с первого взгляда. Калиныч (как узнал я после) каждый день ходил с барином на охоту, носил его сумку, иногда и ружье, замечал, где садится птица, доставал воды, набирал земляники, устраивал шалаши, бегал за дрожками; без него г-н Полутыкин шагу ступить не мог. Калиныч был человек самого веселого, самого кроткого нрава, беспреестанно попевал вполголоса, беззаботно поглядывал во все стороны, говорил немного в нос, улыбаясь, прищуривал свои светло-голубые глаза и часто брался рукою за свою жидкую, клиновидную бо-

роду. Ходил он нескоро, но большими шагами, слегка подпираясь длинной и тонкой палкой. В течение дня он не раз заговаривал со мною, услуживал мне без раболепства, но за барином наблюдал, как за ребенком. Когда невыносимый полуденный зной заставил нас искать убежища, он свел нас на свою пасеку, в самую глушь леса. Калиныч отворил нам избушку, увешанную пучками сухих душистых трав, уложил нас на свежем сене, а сам надел на голову род мешка с сеткой, взял нож, горшок и головешку и отправился на пасеку вырезать нам сот. Мы запили прозрачный теплый мед ключевой водой и заснули под однообразное жужжанье пчел и болтливый лепет листьев.

Легкий порыв ветерка разбудил меня... Я открыл глаза и увидел Калиныча: он сидел на пороге полуоткрытой двери и ножом вырезывал ложку. Я долго любовался его лицом, кротким и ясным, как вечернее небо. Г-н Полутыкин тоже проснулся. Мы не тотчас встали. Приятно после долгой ходьбы и глубокого сна лежать неподвижно на сене: тело нежится и томится, легким жаром пышет лицо, сладкая лень смыкает глаза. Наконец мы встали и опять пошли бродить до вечера. За ужином я заговорил опять о Хоре да о Калиныче. «Калиныч — добрый мужик, — сказал мне г. Полутыкин, — усердный и услужливый мужик; хозяйство в исправности, иначе, содержать не может: я его всё оттягиваю. Каждый день со мной на охоту ходит... Какое уж тут хозяйство, — посудите сами». Я с ним согласился, и мы легли спать.

На другой день г-н Полутыкин принужден был отправиться в город по делу с соседом Пичуковым. Сосед Пичуков запахал у него землю и на запаханной земле высек его же бабу. На охоту поехал я один и перед вечером завернул к Хорю. На пороге избы встретил меня старик — лысый, низкого роста, плечистый и плотный — сам Хорь. Я с любопытством посмотрел на этого Хоря. Склад его лица напоминал Сократа: такой же высокий, шишковатый лоб, такие же маленькие глазки, такой же курносый нос. Мы вошли вместе в избу. Тот же Федя принес мне молока с черным хлебом. Хорь присел на скамью и, преспокойно поглаживая свою курчавую бороду, вступил со мною в разговор. Он, казалось, чувствовал свое достоинство, говорил и двигался медленно, изредка посмеивался из-под длинных своих усов.

Мы с ним толковали о посеве, об урожае, о крестьянском быте... Он со мной всё как будто соглашался; только потом мне становилось совестно, и я чувствовал, что говорю не то... Так оно как-то странно выходило. Хорь выражался иногда мудрено, должно быть, из осторожности... Вот вам образчик нашего разговора:

— Послушай-ка, Хорь, — говорил я ему, — отчего ты не откупишься от своего барина?

— А для чего мне откупаться? Теперь я своего барина знаю и оброк свой знаю... барии у нас хороший.

— Всё же лучше на свободе, — заметил я.

Хорь посмотрел на меня сбоку.

— Вестимо, — проговорил он.

— Ну, так отчего же ты не откупаешься?

Хорь покрутил головой.

— Чем, батюшка, откупиться прикажешь?

— Ну, полно, старина...

— Попал Хорь в вольные люди, — продолжал он вполголоса, как будто про себя, — кто без бороды живет, тот Хорю и набольший.

— А ты сам бороду сбрей.

— Что борода? борода — трава: скосить можно.

— Ну, так что ж?

— А, знать, Хорь прямо в купцы попадет; купцам-то жизнь хорошая, да и те в бородах.

— А что, ведь ты тоже торговлей занимаешься? — спросил я его.

— Торгуем помаленьку маслишком да дегтишком... Что же, тележку, батюшка, прикажешь заложить?

«Крепок ты на язык и человек себе на уме», — подумал я.

— Нет, — сказал я вслух, — тележки мне не надо; я завтра около твоей усадьбы похожу и, если позволишь, останусь ночевать у тебя в сенном сарае.

— Милости просим. Да покойно ли тебе будет в сарае? Я прикажу бабам постлать тебе простыню и положить подушку. Эй, бабы! — вскричал он, поднимаясь с места, — сюда, бабы!.. А ты, Федя, поди с ними. Бабы ведь народ глупый.

Четверть часа спустя Федя с фонарем проводил меня в сарай. Я бросился на душистое сено, собака свернулась у ног моих; Федя пожелал мне доброй ночи, дверь заскрипела и захлопнулась. Я довольно долго не мог заснуть. Корова подошла к двери, шумно дохнула раза два; собака с достоинством на нее зарычала; свинья прошла мимо, задумчиво хрюкая; лошадь где-то в близости стала жевать сено и фыркавать... Я, наконец, задремал.

На заре Федя разбудил меня. Этот веселый, бойкий парень очень мне нравился; да и, сколько я мог заметить, у старого Хоря он тоже был любимцем. Они оба весьма любезно друг над другом подтрунивали. Старик вышел ко мне навстречу. Оттого ли, что я провел ночь под его кровом, по другой ли какой причине, только Хорь гораздо ласковее вчерашнего обошелся со мной.

— Самовар тебе готов, — сказал он мне с улыбкой, — пойдем чай пить.

Мы уселись около стола. Здоровая баба, одна из его невесток, принесла горшок с молоком. Все его сыновья поочередно входили в избу.

— Что у тебя за рослый народ! — заметил я старику.

— Да, — промолвил он, откусывая крошечный кусок сахара, — на меня да на мою старуху жаловаться, кажись, им нечего.

— И все с тобой живут?

— Все. Сами хотят, так и живут.

— И все женаты?

— Вон один, пострел, не женится, — отвечал он, указывая на Федю, который по-прежнему прислонился к двери. — Васька, тот еще молод, тому погодить можно.

— А что мне жениться? — возразил Федя, — мне и так хорошо. На что мне жена? Лаяться с ней, что ли?

— Ну, уж ты... уж я тебя знаю! кольца серебряные носишь... Тебе бы всё с дворовыми девками нюхаться... «Полноте, бесстыдники!» — продолжал старик, передразнивая горничных. — Уж я тебя знаю, белоручка ты этакой!

— А в бабе-то что хорошего?

— Баба — работница, — важно заметил Хорь. — Баба мужику слуга.

— Да на что мне работница?

— То-то, чужими руками жар загребать любишь. Знаем мы вашего брата.

— Ну, жени меня, коли так. А? что! Что ж ты молчишь?

— Ну, полно, полно, балагур. Вишь, барина мы с тобой беспокоим. Женю, небось... А ты, батюшка, не гневись: дитятко, видишь, малое, разуму не успело набраться.

Федя покачал головой...

— Дома Хорь? — раздался за дверью знакомый голос, — и Калиныч вошел в избу с пучком полевой земляники в руках, которую нарвал он для своего друга, Хоря. Старик радушно его приветствовал. Я с изумлением поглядел на Калиныча: признаюсь, я не ожидал таких «нежностей» от мужика.

Я в этот день пошел на охоту часами четыремя позднее обыкновенного и следующие три дня провел у Хоря. Меня занимали новые мои знакомцы. Не знаю, чем я заслужил их доверие, но они непринужденно разговаривали со мной. Я с удовольствием слушал их и наблюдал за ними. Оба приятеля нисколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист; Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть: обстроился, накопил деньжонку, ладил с бариним и с прочими властями; Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единокладное; у Калиныча была когда-то жена, которой он боялся, а детей и не бывало вовсе. Хорь насквозь видел г-на Полутыкина; Калиныч благоговел перед своим господином. Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство; Калиныч любил и уважал Хоря. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя; Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел соловьем, как бойкий фабричный человек... Но Калиныч был одарен преимуществами, которые признавал сам Хорь, например: он заговаривал кровь, испуг, бешенство, выгонял червей; пчелы ему дались, рука у него была легкая. Хорь при мне попросил его ввести в конюшню новокупленную лошадь, и Калиныч с добросовестною важностью исполнил просьбу старого скептика. Калиныч стоял ближе к природе; Хорь же — к людям, к обществу; Калиныч не любил рассуждать и всему верил слепо; Хорь возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь. Он много видел, много знал, и от него я многому научился. Например, из его рассказов узнал я, что каждое

лето, перед покосом, появляется в деревнях небольшая тележка особенного вида. В этой тележке сидит человек в кафтане и продает косы. На наличные деньги он берет рубль двадцать пять копеек — полтора рубля ассигнациями; в долг — три рубля и целковый. Все мужики, разумеется, берут у него в долг. Через две-три недели он появляется снова и требует денег. У мужика овес только что скошен, стало быть, заплатить есть чем; он идет с купцом в кабак и там уже расплачивается. Иные помещики вздумали было покупать сами косы на наличные деньги и раздавать в долг мужикам по той же цене; но мужики оказались недовольными и даже впали в уныние; их лишали удовольствия шелкать по косе, прислушиваться, перевертывать ее в руках и раз двадцать спросить у плутоватого мещанина-продавца: «А что, малый, коса-то не больно того?» Те же самые проделки происходят и при покупке серпов, с тою только разницей, что тут бабы вмешиваются в дело и доводят иногда самого продавца до необходимости, для их же пользы, поколотить их. Но более всего страдают бабы вот при каком случае. Поставщики материала на бумажные фабрики поручают закупку тряпья особенного рода людям, которые в иных уездах называются «орлами». Такой «орел» получает от купца рублей двести ассигнациями и отправляется на добычу. Но, в противность благородной птице, от которой он получил свое имя, он не нападает открыто и смело: напротив, «орел» прибегает к хитрости и лукавству. Он оставляет свою тележку где-нибудь в кустах около деревни, а сам отправляется по задворьям да по задам, словно прохожий какой-нибудь или просто праздношатающийся. Бабы чутьем угадывают его приближение и крадутся к нему навстречу. Второпях совершается торговая сделка. За несколько медных грошей баба отдает «орлу» не только всякую ненужную тряпицу, но часто даже мужнину рубаху и собственную паневу. В последнее время бабы нашли выгодным красть у самих себя и сбывать таким образом пеньку, в особенности «замашки», — важное пространство и усовершенствование промышленности «орлов»! Но зато мужики, в свою очередь, навострились и при малейшем подозрении, при одном отдаленном слухе о появлении «орла» быстро и живо приступают к исправительным и предохранительным мерам. И в самом деле, не обидно ли? Пеньку продавать их дело, и они ее точно продают, не в городе, — в город надо самим тащиться, — а приедем торговцам, которые, за неимением безмена, считают пуд в сорок горстей — а вы знаете, что за горсть и что за ладонь у русского человека, особенно когда он «усердствует»!

Таких рассказов я, человек неопытный и в деревне не «живалый» (как у нас в Орле говорится), наслушался вдоволь. Но Хорь не всё рассказывал, он сам меня расспрашивал о многом. Узнал он, что я бывал за границей, и любопытство его разгорелось... Калиныч от него не отставал; но Калиныча более трогали описания природы, гор, водопадов, необыкновенных зданий, больших городов; Хоря занимали вопросы административные и государственные. Он перебирал всё по порядку: «Что, у них это там есть так же, как у нас, аль иначе?.. Ну, го-

вори, батюшка, — как же?..» — «А! ах, господи, твоя воля!» — восклицал Калиныч во время моего рассказа; Хорь молчал, хмурил густые брови и лишь изредка замечал, что, «дескать, это у нас не шло бы, а вот это хорошо — это порядок». Всех его расспросов я передать вам не могу, да и незачем; но из наших разговоров я вынес одно убеждение, которого, вероятно, никак не ожидают читатели, — убеждение, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело смотрит вперед. Что хорошо — то ему и нравится, что разумно — того ему и подавай, а откуда оно идет, — ему всё равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком; но немцы, по словам Хоря, любопытный народец, и поучиться у них он готов. Благодаря исключительности своего положения, своей фактической независимости, Хорь говорил со мной о многом, чего из другого рычагом не выворотить, как выражаются мужики, жерновом не вымелешь. Он действительно понимал свое положение. Толкуя с Хорем, я в первый раз услышал простую, умную речь русского мужика. Его познания были довольно, по-своему, обширны, но читать он не умел; Калиныч — умел. «Этому шалопаю грамота далась, — заметил Хорь, — у него и пчелы отродясь не мерли». — «А детей ты своих выучил грамоте?» Хорь помолчал. «Федя знает». — «А другие?» — «Другие не знают». — «А что?» Старик не отвечал и переменял разговор. Впрочем, как он умен ни был, водились и за ним многие предрассудки и предубеждения. Баб он, например, презирал от глубины души, а в веселый час тешился и издевался над ними. Жена его, старая и сварливая, целый день не сходила с печи и беспрестанно ворчала и бранилась; сыновья не обращали на нее внимания, но невесток она содержала в страхе божием. Недаром в русской песенке свекровь поет: «Какой ты мне сын, какой семьянин! Не бьешь ты жены, не бьешь молодой...»* Я раз было вздумал заступиться за невесток, попытался возбудить сострадание Хоря; но он спокойно возразил мне, что «охота-де вам такими... пустяками заниматься, — пускай бабы ссорятся... Их что разнимать — то хуже, да и рук марать не стоит». Иногда злая старуха слезала с печи, вызывала из сеней дворовую собаку, приговаривая: «Сюды, сюды, собачка!» — и била ее по худой спине кочергой или становилась под навес и «лаялась», как выражался Хорь, со всеми проходящими. Мужа своего она, однако же, боялась и, по его приказанию, убиралась к себе на печь. Но особенно любопытно было послушать спор Калиныча с Хорем, когда дело доходило до г-на Полутыкина. «Уж ты, Хорь, у меня его не трогай», — говорил Калиныч. «А что ж он тебе сапогов не сошьет?» — возражал тот. «Эка, сапоги!.. на что мне сапоги? Я мужик...» — «Да вот и я мужик, а вишь...» При этом слове Хорь поднимал свою ногу и показывал Калинычу сапог, скроенный, вероятно, из мамонтовой кожи. «Эх, да ты разве наш брат!» — отвечал Калиныч. «Ну, хоть бы на лапти дал: ведь ты с ним на охоту ходишь; чай, что день, то лапти». — «Он мне дает на

лапти». — «Да, в прошлом году гривенник пожаловал». Калиныч с досадой отворачивался, а Хорь заливался смехом, причем его маленькие глазки исчезали совершенно.

Калиныч пел довольно приятно и поигрывал на балалайке. Хорь слушал, слушал его, загибал вдруг голову набок и начинал подтягивать жалобным голосом. Особенно любил он песню: «Доля ты моя, доля!» Федя не упускал случая подтрунить над отцом. «Чего, старик, разжалобился?» Но Хорь подпирал щеку рукой, закрывал глаза и продолжал жаловаться на свою долю... Зато в другое время не было человека деятельнее его: вечно над чем-нибудь копается — телегу чинит, забор подпирает, сбрую пересматривает. Особенной чистоты он, однако, не придерживался и на мои замечания отвечал мне однажды, что «надо-де избе жильем пахнуть».

— Посмотри-ка, — возразил я ему, — как у Калиныча на пасеке чисто.

— Пчелы бы жить не стали, батюшка, — сказал он со вздохом.

«А что, — спросил он меня в другой раз, — у тебя своя вотчина есть?» — «Есть». — «Далеко отсюда?» — «Верст сто». — «Что же ты, батюшка, живешь в своей вотчине?» — «Живу». — «А больше, чай, ружьем пробавляешься?» — «Признаться, да». — «И хорошо, батюшка, делаешь; стреляй себе на здоровье тетеревов да старосту меняй почаще».

На четвертый день, вечером, г. Полутыкин прислал за мной. Жаль мне было расставаться с стариком. Вместе с Калинычем сел я в телегу. «Ну, прощай, Хорь, будь здоров, — сказал я... — Прощай, Федя». — «Прощай, батюшка, прощай, не забывай нас». Мы поехали; заря только что разгоралась. «Славная погода завтра будет», — заметил я, глядя на светлое небо. «Нет, дождь пойдет, — возразил мне Калиныч, — утки вон плещутся, да и трава больно сильно пахнет». Мы въехали в кусты. Калиныч запел вполголоса, подпрыгивая на облучке, и всё глядел да глядел на зарю...

На другой день я покинул гостеприимный кров г-на Полутыкина.

ЕРМОЛАЙ И МЕЛЬНИЧИХА

Вечером мы с охотником Ермолаем отправились на «тягу»... Но, может быть, не все мои читатели знают, что такое тяга. Слушайте же, господа.

За четверть часа до захождения солнца, весной, вы входите в рошу, с ружьем, без собаки. Вы отыскиваете себе место где-нибудь подле опушки, оглядываетесь, осматриваете пистон, перемигиваетесь с товарищем. Четверть часа прошло. Солнце село, но в лесу еще светло; воздух чист и прозрачен; птицы болтливо лепечут; молодая трава блестит веселым блеском изумруда... Вы ждете. Внутренность леса постепенно темнеет; алый свет вечерней зари медленно скользит по корням и стволам деревьев, поднимается всё выше и выше, переходит от ниж-

них, почти еще голых, веток к неподвижным, засыпающим верхушкам... Вот и самые верхушки потускнели; румяное небо синее. Лесной запах усиливается, слегка повеяло теплой сыростью; влетевший ветер около вас замирает. Птицы засыпают — не все вдруг — по породам: вот затихли зяблики, через несколько мгновений малиновки, за ними овсянки. В лесу всё темней да темней. Деревья сливаются в большие чернеющие массы; на синем небе робко выступают первые звездочки. Все птицы спят. Горихвостки, маленькие дятлы одни еще сонливо посвистывают... Вот и они умолкли. Еще раз прозвенел над вами звонкий голос пеночки; где-то печально прокричала иволга, соловей щелкнул в первый раз. Сердце ваше томится ожиданием, и вдруг — но одни охотники поймут меня, — вдруг в глубокой тишине раздается особого рода карканье и шипенье, слышится мерный взмах проворных крыл, — и вальдшнеп, красиво наклонив свой длинный нос, плавно вылетает из-за темной березы навстречу вашему выстрелу.

Вот что значит «стоять на тяге».

Итак, мы с Ермолаем отправились на тягу; но извините, господа: я должен вас сперва познакомиться с Ермолаем.

Вообразите себе человека лет сорока пяти, высокого, худого, с длинным и тонким носом, узким лбом, серыми глазками, взъерошенными волосами и широкими насмешливыми губами. Этот человек ходил и зиму и лето в желтоватом нанковом кафтане немецкого покроя, но подпоясывался кушаком; носил синие шаровары и шапку со смушками, подаренную ему, в веселый час, разорившимся помещиком. К кушаку привязывались два мешка, один спереди, искусно перекрученный на две половины, для пороху и для дробы, другой сзади — для дичи; хлѳпки же Ермолай доставал из собственной, по-видимому неистошимой, шапки. Он бы легко мог на деньги, вырученные им за проданную дичь, купить себе патронташ и суму, но ни разу даже не подумал о подобной покупке и продолжал заряжать свое ружье по-прежнему, возбуждая изумление зрителей искусством, с каким он избегал опасности просыпать или смешать дробь и порох. Ружье у него было одноствольное, с кремнем, одаренное притом скверной привычкой жестоко «отдавать», отчего у Ермолая правая щека всегда была пухлее левой. Как он попадал из этого ружья — и хитрому человеку не придумать, но попадал. Была у него и легавая собака, по прозванию Валетка, преудивительное создание. Ермолай никогда ее не кормил. «Стану я пса кормить, — рассуждал он, — притом пес — животное умное, сам найдет себе пропитанье». И действительно: хотя Валетка поражал даже равнодушного прохожего своей чрезмерной худобой, но жил, и долго жил; даже, несмотря на свое бедственное положение, ни разу не пропадал и не изъявлял желанья покинуть своего хозяина. Раз как-то, в юные годы, он отлучился на два дня, увлеченный любовью; но эта дурь скоро с него соскочила. Замечательнейшим свойством Валетки было его непостижимое равнодушие ко всему на свете... Если б речь шла не о собаке, я бы употребил слово: разочаро-

ванность. Он обыкновенно сидел, подвернувши под себя свой куцый хвост, хмурился, вздрагивал по временам и никогда не улыбался. (Известно, что собаки имеют способность улыбаться, и даже очень мило улыбаться.) Он был крайне безобразен, и ни один праздный дворовый человек не упускал случая ядовито насмеяться над его наружностью; но все эти насмешки и даже удары Валетка переносил с удивительным хладнокровием. Особенное удовольствие доставлял он поварам, которые тотчас отрывались от дела и с криком и бранью пускались за ним в погоню, когда он, по слабости, свойственной не одним собакам, просовывал свое голодное рыло в полурастворенную дверь соблазнительно теплой и благовонной кухни. На охоте он отличался неутомимостью и чутье имел порядочное; но если случайно догонял подраненного зайца, то уж и съедал его с наслаждением всего, до последней косточки, где-нибудь в прохладной тени, под зеленым кустом, в почтительном отдалении от Ермолая, ругавшегося на всех известных и неизвестных диалектах.

Ермолай принадлежал одному из моих соседей, помещику старинного покроя. Помещики старинного покроя не любят «куликов» и придерживаются домашней живности. Разве только в необыкновенных случаях, как-то: во дни рождений, именин и выборов повара старинных помещиков приступают к изготовлению долгоносых птиц и, войдя в азарт, свойственный русскому человеку, когда он сам хорошенько не знает, что делает, придумывают к ним такие мудреные приправы, что гости большей частью с любопытством и вниманием рассматривают поданные яства, но отведать их никак не решаются. Ермолаю было приказано доставлять на господскую кухню раз в месяц пары две тетеревей и куропаток, а в прочем позволялось ему жить где хочет и чем хочет. От него отказались, как от человека ни на какую работу не годного — «лядашего», как говорится у нас в Орле. Пороху и дроби, разумеется, ему не выдавали, следуя точно тем же правилам, в силу которых и он не кормил своей собаки. Ермолай был человек престранного рода: беззаботен, как птица, довольно говорлив, рассеян и неловок с виду; сильно любил выпить, не уживался на месте, на ходу шмыгал ногами и переваливался с боку на бок — и, шмыгая и переваливаясь, улепетывал верст шестьдесят в сутки. Он подвергался самым разнообразным приключениям: ночевал в болотах, на деревьях, на крышах, под мостами, сиживал не раз взаперти на чердаках, в погребах и сараях, лишался ружья, собаки, самых необходимых одеяний, бывал бит сильно и долго — и всё-таки, через несколько времени, возвращался домой, одетый, с ружьем и с собакой. Нельзя было назвать его человеком веселым, хотя он почти всегда находился в довольно изрядном расположении духа; он вообще смотрел чужаком. Ермолай любил покалякать с хорошим человеком, особенно за чаркой, но и то недолго: встанет, было, и пойдет. «Да куда ты, чёрт, идешь? Ночь на дворе». — «А в Чаплино». — «Да на что тебе тащиться в Чаплино, задесять верст?» — «А там у Софрона-мужичка переночевать». — «Да ночуй здесь». — «Нет уж, нельзя». И пойдет Ермолай с своим Валеткой в

темную ночь, через кусты да водомоины, а мужичок Софрон его, пожалуй, к себе на двор не пустит, да еще, чего доброго, шею ему намет: не беспокой-де честных людей. Зато никто не мог сравниться с Ермолаем в искусстве ловить весной, в полу воду, рыбу, доставать руками раков, отыскивать по чутью дичь, подманивать перепелов, вынашивать ястребов, добывать соловьев с «лешевой дудкой», с «кукушкиным перелетом»...¹ Одного он не умел: дрессировать собак; терпенья недоставало. Была у него и жена. Он ходил к ней раз в неделю. Жила она в дрянной, полуразвалившейся избенке, перебивалась кое-как и кое-чем, никогда не знала накануне, будет ли сыта завтра, и вообще терпела участь горькую. Ермолай, этот беззаботный и добродушный человек, обходился с ней жёстко и грубо, принимал у себя дома грозный и суровый вид, — и бедная его жена не знала, чем угодить ему, трепетала от его взгляда, на последнюю копейку покупала ему вина и подобострастно покрывала его своим тулупом, когда он, величественно развалясь на печи, засыпал богатырским сном. Мне самому не раз случалось подмечать в нем невольные проявления какой-то угрюмой свирепости: мне не нравилось выражение его лица, когда он прикусывал подстреленную птицу. Но Ермолай никогда больше дня не оставался дома; а на чужой стороне превращался опять в «Ермолку», как его прозвали на сто верст кругом и как он сам себя называл подчас. Последний дворовый человек чувствовал свое превосходство над этим бродягой — и, может быть, потому именно и обращался с ним дружелюбно; а мужики сначала с удовольствием загоняли и ловили его, как зайца в поле, но потом отпускали с богом и, раз узнавши чудака, уже не трогали его, даже давали ему хлеба и вступали с ним в разговоры... Этого-то человека я взял к себе в охотники, и с ним-то я отправился на тягу в большую березовую рощу, на берегу Исты.

У многих русских рек, наподобие Волги, один берег горный, другой луговой; у Исты тоже. Эта небольшая речка вьется чрезвычайно прихотливо, ползет змеей, ни на полверсты не течет прямо, и в ином месте, с высоты крутого холма, видна верст на десять с своими плотинами, прудами, мельницами, огородами, окруженными ракитником и гусиными стадами. Рыбы в Исте бездна, особливо головлей (мужики достают их в жар из-под кустов руками). Маленькие кулички-песочники со свистом перелетывают вдоль каменистых берегов, испешренных холодными и светлыми ключами; дикие утки выплывают на середину прудов и осторожно озираются; цапли торчат в тени, в заливах, под обрывами... Мы стояли на тяге около часу, убили две пары вальдшнепов и, желая до восхода солнца опять попытать нашего счастья (на тягу можно также ходить поутру), решили переночевать в ближайшей мельнице. Мы вышли из рощи, спустились с холма. Река катила темно-синие волны; воздух густел, отягченный ночной влагой. Мы постучались в ворота. Собаки залились на дворе.

¹ Охотникам до соловьев эти названия знакомы: ими обозначаются лучшие «колена» в соловьином пенье.

«Кто тут?» — раздался сиплый и заспанный голос. «Охотники: пусть переночевать». Ответа не было. «Мы заплатим». — «Пойду скажу хозяину... Цыц, проклятые!.. Эх на вас погибели нет!» Мы слышали, как работник вошел в избу; он скоро вернулся к воротам. «Нет, — говорит, — хозяин не велит пускать». — «Отчего не велит?» — «Да боится; вы охотники: чего доброго, мельницу зажжете; вишь, у вас снаряды какие». — «Да что за вздор!» — «У нас и так в прошлом году мельница сгорела: прасолы переночевали, да, зная, как-нибудь и подожгли». — «Да как же, брат, не ночевать же нам на дворе!» — «Как знаете...» Он ушел, стуча сапогами.

Ермолай посулил ему разных неприятностей. «Пойдемте в деревню», — произнес он, наконец, со вздохом. Но до деревни было версты две... «Ночуем здесь, — сказал я, — на дворе ночь теплая; мельник за деньги нам вышлет соломы». Ермолай беспрекословно согласился. Мы опять стали стучаться. «Да что вам надобно? — раздался снова голос работника, — сказано, нельзя». Мы растолковали ему, чего мы хотели. Он пошел посоветоваться с хозяином и вместе с ним вернулся. Калитка заскрипела. Появился мельник, человек высокого роста, с жирным лицом, бычачьим затылком, круглым и большим животом. Он согласился на мое предложение. Во ста шагах от мельницы находился маленький, со всех сторон открытый, навес. Нам принесли туда соломы, сена; работник на траве подле реки наставил самовар и, присев на корточки, начал усердно дуть в трубу... Уголья, вспыхивая, ярко освещали его молодое лицо. Мельник побежал будить жену, предложил мне сам, наконец, переночевать в избе; но я предпочел остаться на открытом воздухе. Мельничиха принесла нам молока, яиц, картофеля, хлеба. Скоро закипел самовар, и мы принялись пить чай. С реки поднимались пары, ветру не было; кругом кричали коростели; около мельничных колес раздавались слабые звуки: то капли падали с лопат, сочилась вода сквозь засовы плотины. Мы разложили небольшой огонек. Пока Ермолай жарил в золе картофель, я успел задремать... Легкий сдержанный шёпот разбудил меня. Я поднял голову: перед огнем, на опрокинутой кадке, сидела мельничиха и разговаривала с моим охотником. Я уже прежде, по ее платью, телодвижениям и выговору, узнал в ней дворовую женщину — не бабу и не мещанку; но только теперь я рассмотрел хорошенько ее черты. Ей было на вид лет тридцать; худое и бледное лицо еще хранило следы красоты замечательной; особенно понравились мне глаза, большие и грустные. Она оперла локти на колени, положила лицо на руки. Ермолай сидел ко мне спиной и подкладывал щепки в огонь.

— В Желтухиной опять падеж, — говорила мельничиха, — у отца Ивана обе коровы свалились... Господи помилуй!

— А что ваши свиньи? — спросил, помолчав, Ермолай.

— Живут.

— Хоть бы поросеночка мне подарили.

Мельничиха помолчала, потом вздохнула.

— С кем вы это? — спросила она.

— С барином — с костомаровским.

Ермолай бросил несколько еловых веток на огонь; ветки тотчас дружно затрещали, густой белый дым повалил ему прямо в лицо.

— Чего твой муж нас в избу не пустил?

— Боится.

— Вишь, толстый брюхач... Голубушка, Арина Тимофеевна, вынеси мне стаканчик винца!

Мельничиха встала и исчезла во мраке. Ермолай запел вполголоса:

Как к любезной я ходил,
Все сапожки обносил...

Арина вернулась с небольшим графинчиком и стаканом. Ермолай привстал, перекрестился и выпил духом. «Люблю!» — прибавил он.

Мельничиха опять присела на кадку.

— А что, Арина Тимофеевна, чай, всё хвораешь?

— Хвораю.

— Что так?

— Кашель по ночам мучит.

— Барин-то, кажется, заснул, — промолвил Ермолай после небольшого молчания. — Ты к лекарю не ходи, Арина: хуже будет.

— Я и то не хожу.

— А ко мне зайди погостить.

Арина потупила голову.

— Я свою-то, жену-то, прогоню на тот случай, — продолжал Ермолай... — Право-ся.

— Вы бы лучше барина разбудили, Ермолай Петрович: видите, картофель испекся.

— А пусть дрыхнет, — равнодушно заметил мой верный слуга, — набегался, так и спит.

Я заворочался на сене. Ермолай встал и подошел ко мне.

— Картофель готов-с, извольте кушать.

Я вышел из-под навеса; мельничиха поднялась с кадки и хотела уйти. Я заговорил с нею.

— Давно вы эту мельницу сняли?

— Второй год пошел с троицына дня.

— А твой муж откуда?

Арина не расслушала моего вопроса.

— Откелева твой муж? — повторил Ермолай, возвыся голос.

— Из Белева. Он белевский мещанин.

— А ты тоже из Белева?

— Нет, я господская... была господская.

— Чья?

— Зверкова господина. Теперь я вольная.

— Какого Зверкова?

— Александра Силыча.

— Не была ли ты у его жены горничной?

— А вы почему знаете? — Была.

Я с удвоенным любопытством и участием посмотрел на Арину.

— Я твоего барина знаю, — продолжал я.

— Знаете? — отвечала она вполголоса — и потупилась.

Надобно сказать читателю, почему я с таким участием посмотрел на Арину. Во время моего пребывания в Петербурге я случайным образом познакомился с г-м Зверковым. Он занимал довольно важное место, слыл человеком знающим и дельным. У него была жена, пухлая, чувствительная, слезливая и злая — дюжинное и тяжелое создание; был и сынок, настоящий барчонок, избалованный и глупый. Наружность самого г. Зверкова мало располагала в его пользу: из широкого, почти четверугольного лица лукаво выглядывали мышинные глазки, торчал нос, большой и острый, с открытыми ноздрями; стриженные седые волосы поднимались щетиной над морщинистым лбом, тонкие губы беспрестанно шевелились и приторно улыбались. Г-н Зверков стоял обыкновенно, растопырив ножки и заложив толстые ручки в карманы. Раз как-то пришлось мне ехать с ним вдвоем в карете за город. Мы разговорились. Как человек опытный, дельный, г. Зверков начал наставлять меня на «путь истины».

— Позвольте мне вам заметить, — пропищал он наконец, — вы все, молодые люди, судите и толкуете обо всех вещах наобум; вы мало знаете собственное свое отечество; Россия вам, господа, незнакома, вот что!.. Вы всё только немецкие книги читаете. Вот, например, вы мне говорите теперь и то, и то насчет того, ну, то есть, насчет дворовых людей... Хорошо, я не спорю, всё это хорошо; но вы их не знаете, не знаете, что это за народ. (Г-н Зверков громко высморкался и понюхал табак.) Позвольте мне вам рассказать, например, один маленький анекдотец: вас это может заинтересовать. (Г-н Зверков откашлянулся.) Вы ведь знаете, что у меня за жена; кажется, женщину добрее ее найти трудно, согласитесь сами. Горничным ее девушкам не житье, — просто рай воочию совершается... Но моя жена положила себе за правило: замужних горничных не держать. Оно и точно не годится: пойдут дети, то, се, — ну, где ж тут горничной присмотреть за барыней как следует, наблюдать за ее привычками: ей уж не до того, у ней уж не то на уме. Надо по человечеству судить. Вот-с проезжаем мы раз через нашу деревню, лет тому будет — как бы вам сказать, не солгать, — лет пятнадцать. Смотрим, у старосты девочка, дочь, прехорошенькая; такое даже, знаете, подобострастное что-то в манерах. Жена моя и говорит мне: «Коко, — то есть, вы понимаете, она меня так называет, — возьмем эту девочку в Петербург; она мне нравится, Коко...» Я говорю: «Возьмем, с удовольствием». Староста, разумеется, нам в ноги; он такого счастья, вы понимаете, и ожидать не мог... Ну, девочка, конечно, поплакала сдуру. Оно действительно жутко сначала: родительский дом... вообще... удивительного тут ничего нет. Однако она скоро к нам привыкла; сперва ее отдали в девичью; учили ее, конечно. Что ж вы думаете?... Девочка оказывает удивительные успехи; жена моя просто к ней пристраивается, жалует ее, наконец, помимо других, в горничные к своей особе... замечайте!.. И надобно было отдать ей справедли-

вость: не было еще такой горничной у моей жены, решительно не было; услужлива, скромна, послушна — просто всё, что требуется. Зато уж и жена ее даже, признаться, слишком баловала; одевала отлично, кормила с господского стола, чаем поила... ну, что только можно себе представить! Вот этак она лет десять у моей жены служила. Вдруг, в одно прекрасное утро, вообразите себе, входит Арина — ее Ариной звали — без доклада ко мне в кабинет — и бух мне в ноги... Я этого, скажу вам откровенно, терпеть не могу. Человек никогда не должен забывать свое достоинство, не правда ли? «Чего тебе?» — «Батюшка, Александр Силыч, милости прошу». — «Какой?» — «Позвольте выйти замуж». Я, признаюсь вам, изумился. «Да ты знаешь, дура, что у барыни другой горничной нету?» — «Я буду служить барыне по-прежнему». — «Вздор! вздор! барыня замужних горничных не держит». — «Маланя на мое место поступить может». — «Прошу не рассуждать!» — «Воля ваша...» Я, признаюсь, так и обомлел. Доложу вам, я такой человек: ничто меня так не оскорбляет, смею сказать, так сильно не оскорбляет, как неблагодарность... Ведь вам говорить нечего, — вы знаете, что у меня за жена: ангел во плоти, доброта неизъяснимая... Кажется, злодей — и тот бы ее пожалел. Я прогнал Арину. Думаю, авось опомнится; не хочется, знаете ли, верить злу, черной неблагодарности в человеке. Что ж вы думаете? Через полгода опять она изволит жаловать ко мне с тою же самою просьбой. Тут я, признаюсь, ее с сердцем прогнал и погрозил ей, и сказать жене обещался. Я был возмущен... Но представьте себе мое изумление: несколько времени спустя приходит ко мне жена, в слезах, взволнована так, что я даже испугался. «Что такое случилось?» — «Арина...» Вы понимаете... я стыжусь выговорить. «Быть не может!.. кто же?» — «Петрушка лакей». Меня взорвало. Я такой человек... полумер не люблю!.. Петрушка... не виноват. Наказать его можно, но он, по-моему, не виноват. Арина... ну, что ж, ну, ну, что ж тут еще говорить? Я, разумеется, тотчас же приказал ее остричь, одеть в затрапез и сослать в деревню. Жена моя лишилась отличной горничной, но делать было нечего: беспорядок в доме терпеть, однако же, нельзя. Большой член лучше отсечь разом... Ну, ну, теперь посудите сами, — ну, ведь вы знаете мою жену, ведь это, это, это... наконец, ангел!.. Ведь она привязалась к Арине, — и Арина это знала и не постыдилась... А? нет, скажите... а? Да что тут толковать! Во всяком случае, делать было нечего. Меня же, собственно меня, надолго огорчила, обидела неблагодарность этой девушки. Что ни говорите... сердца, чувства — в этих людях не ищите! Как волка ни корми, он всё в лес смотрит... Вперед наука! Но я желал только доказать вам...

И г. Зверков, не dokonчив речи, отворотил голову и завернулся плотнее в свой плащ, мужественно подавляя невольное волнение.

Читатель теперь, вероятно, понимает, почему я с участием посмотрел на Арину.

— Давно ты замужем за мельником? — спросил я ее наконец.

— Два года.

— Что ж, разве тебе барин позволил?

— Меня откупили.

— Кто?

— Савелий Алексеевич.

— Кто такой?

— Муж мой. (Ермолай улыбнулся про себя.) А разве вам барин говорил обо мне? — прибавила Арина после небольшого молчания.

Я не знал, что отвечать на ее вопрос. «Арина!» — закричал издали мельник. Она встала и ушла.

— Хороший человек ее муж? — спросил я Ермолая.

— Ништо.

— А дети у них есть?

— Был один, да помер.

— Что ж, она понравилась мельнику, что ли?.. Много ли он за нее дал выкупу?

— А не знаю. Она грамоте понимает; в их деле оно... того... хорошо бывает. Стало быть, понравилась.

— А ты с ней давно знаком?

— Давно. Я к ее господам прежде хаживал. Их усадьба отселева недалеко.

— И Петрушку лакея знаешь?

— Петра Васильевича? Как же, знал.

— Где он теперь?

— А в солдаты поступил.

Мы помолчали.

— Что она, кажется, нездорова? — спросил я, наконец, Ермолая.

— Какое здоровье!.. А завтра, чай, тяга хороша будет. Вам теперь соснуть не худо.

Стадо диких уток со свистом промчалось над нами, и мы слышали, как оно спустилось на реку недалеко от нас. Уже совсем стемнело и начинало холодать; в роще звучно шелкал соловей. Мы зарылись в сено и заснули.

МАЛИНОВАЯ ВОДА

В начале августа жары часто стоят нестерпимые. В это время, от двенадцати до трех часов, самый решительный и сосредоточенный человек не в состоянии охотиться и самая преданная собака начинает «чистить охотнику шпоры», то есть идет за ним шагом, болезненно прищуриив глаза и преувеличенно высунув язык, а в ответ на укоризны своего господина униженно виляет хвостом и выражает смущение на лице, но вперед не подвигается. Именно в такой день случилось мне быть на охоте. Долго противился я искушению прилечь где-нибудь в тени хоть на мгновение; долго моя неутомимая собака продолжала рыскать по кустам, хотя сама, видимо, ничего не ожидала путного от

своей лихорадочной деятельности. Удушливый зной принудил меня, наконец, подумать о сбережении последних наших сил и способностей. Кое-как дотащился я до речки Исты, уже знакомой моим снисходительным читателям, спустился с кручи и пошел по желтому и сырому песку в направлении ключа, известного во всем околотке под названием «Малиновой воды». Ключ этот бьет из расщелины берега, превратившейся мало-помалу в небольшую, но глубокий овраг, и в двадцати шагах оттуда с веселым и болтливym шумом впадает в реку. Дубовые кусты разрослись по скатам оврага; около родника зеленеет короткая, бархатная травка; солнечные лучи почти никогда не касаются его холодной, серебристой влаги. Я добрался до ключа, на траве лежала черпалка из бересты, оставленная прохожим мужиком на пользу общую. Я напился, прилег в тень и взглянул кругом. У залива, образованного впадением источника в реку и оттого вечно покрытого мелкой рябью, сидели ко мне спиной два старика. Один, довольно плотный и высокого роста, в темно-зеленом опрятном кафтане и пуховом картузе, удил рыбу; другой, худенький и маленький, в мухоярковом заплатанном сюртучке и без шапки, держал на коленях горшок с червями и изредка проводил рукой по седой своей головке, как бы желая предохранить ее от солнца. Я взгляделся в него попристальнее и узнал в нем шумихинского Степушку. Прошу позволения читателя представить ему этого человека.

В нескольких верстах от моей деревни находится большое село Шумихино, с каменною церковью, воздвигнутой во имя преподобных Козьмы и Дамиана. Напротив этой церкви некогда красовались обширные господские хоромы, окруженные разными пристройками, службами, мастерскими, конюшнями, грунтовыми и каретными сараями, банями и временными кухнями, флигелями для гостей и для управляющих, цветочными оранжереями, качелями для народа и другими, более или менее полезными, зданиями. В этих хоромах жили богатые помещики, и всё у них шло своим порядком, как вдруг, в одно прекрасное утро, вся эта благодать сгорела дотла. Господа перебрались в другое гнездо; усадьба запустела. Обширное пепелище превратилось в огород, кое-где загроможденный грудами кирпичей, остатками прежних фундаментов. Из уцелевших бревен на скорую руку сколотили избенку, покрыли ее барочным тесом, купленным лет за десять для построения павильона на готический манер, и поселили в ней садовника Митрофана с женой Аксиньей и семью детьми. Митрофану приказали поставлять на господский стол, за полтора верст, зелень и овощи; Аксинье поручили надзор за тирольской коровой, купленной в Москве за большие деньги, но, к сожалению, лишенной всякой способности воспроизведения и потому со времени приобретения не дававшей молока; ей же на руки отдали хохлатого дымчатого селезня, единственную «господскую» птицу; детям, по причине малолетства, не определили никаких должностей, что, впрочем, нисколько не помешало им совершенно облениться. У этого садовника мне случилось раза два переночевать; мимоходом забирал я у него огурцы, ко-

торые, бог ведает почему, даже летом отличались величиной, дрянным водянистым вкусом и толстой желтой кожей. У него-то увидел я впервые Степушку. Кроме Митрофана с его семьей да старого глухого ктитора Герасима, проживавшего Христа ради в каморочке у кривой солдатки, ни одного дворового человека не осталось в Шумихине, потому что Степушку, с которым я намерен познакомить читателя, нельзя было считать ни за человека вообще, ни за дворового в особенности.

Всякий человек имеет хоть какое бы то ни было положение в обществе, хоть какие-нибудь да связи; всякому дворовому выдается если не жалованье, то по крайней мере так называемое «отвесное»: Степушка не получал решительно никаких пособий, не состоял в родстве ни с кем, никто не знал о его существовании. У этого человека даже прошедшего не было; о нем не говорили; он и по ревизии едва ли числился. Ходили темные слухи, что состоял он когда-то у кого-то в камердинерах; но кто он, откуда он, чей сын, как попал в число шумихинских подданных, каким образом добыл мухояровый, с незапамятных времен носимый им кафтан, где живет, чем живет, — об этом решительно никто не имел ни малейшего понятия, да и, правду сказать, никого не занимали эти вопросы. Дедушка Трофимыч, который знал родословную всех дворовых в восходящей линии до четвертого колена, и тот раз только сказал, что, дескать, помнится, Степану приходится родственницей турчанка, которую покойный барин, бригадир Алексей Романыч, из похода в обозе изволил привезти. Даже, бывало, в праздничные дни, дни всеобщего жалованья и угощения хлебом-солью, гречишными пирогами и зеленым вином, по старинному русскому обычаю, — даже и в эти дни Степушка не являлся к выставленным столам и бочкам, не кланялся, не подходил к барской руке, не выпивал духом стакана под господским взглядом и за господское здоровье, — стакана, наполненного жирною рукою приказчика; разве какая добрая душа, проходя мимо, уделит бедняге недоеденный кусок пирога. В светлое воскресенье с ним христосовались, но он не подворачивал замасленного рукава, не доставал из заднего кармана своего красного яичка, не подносил его, задыхаясь и моргая, молодым господам или даже самой барыне. Проживал он летом в клети, позади курятника, а зимой в предбаннике; в сильные морозы ночевал на сеновале. Его привыкли видеть, иногда даже давали ему пинка, но никто с ним не заговаривал, и он сам, кажется, отроду рта не разинул. После пожара этот заброшенный человек приютился, или, как говорят орловцы, «притулился», у садовника Митрофана. Садовник не тронул его, не сказал ему: живи у меня — да и не прогнал его. Степушка и не жил у садовника: он обитал, витал на огороде. Ходил он и двигался без всякого шума; чихал и кашлял в руку, не без страха; вечно хлопотал и возился втихомолку, словно муравей — и всё для еды, для одной еды. И точно, не заботясь он с утра до вечера о своем пропитании, — умер бы мой Степушка с голоду. Плохое дело не знать поутру, чем к вечеру сыт будешь! То под забором Степушка сидит и редьку гложет, или

морковь сосет, или грязный кочан капусты под себя крошит; то ведро с водой куда-то тащит и кряхтит; то под горшочком огонек раскладывает и какие-то черные кусочки из-за пазухи в горшок бросает; то у себя в чуланчике деревяшкой постукивает, гвоздик приколачивает, полочку для хлеба устраивает. И всё это он делает молча, словно из-за угла: глядь, уж и спрятался. А то вдруг отлучится дня на два; его отсутствия, разумеется, никто не замечает... Смотришь, уж он опять тут, опять где-нибудь около забора под таганчик щепочки украдкой подкладывает. Лицо у него маленькое, глазки желтенькие, волосы вплоть до бровей, носик остренький, уши пребольшие, прозрачные, как у летучей мыши, борода словно две недели тому назад выбрита, и никогда ни меньше не бывает, ни больше. Вот этого-то Степушку я встретил на берегу Исты в обществе другого старика.

Я подошел к ним, поздоровался и присел с ними рядом. В товарище Степушки я узнал тоже знакомого: это был вольноотпущенный человек графа Петра Ильича***, Михайло Савельев, по прозвищу Туман. Он проживал у болховского чахоточного мещанина, содержателя постоянного двора, где я довольно часто останавливался. Проезжающие по большой орловской дороге молодые чиновники и другие незанятые люди (купцам, погруженным в свои полосатые перины, не до того) до сих пор еще могут заметить в недалеком расстоянии от большого села Троицкого огромный деревянный дом в два этажа, совершенно заброшенный, с провалившейся крышей и наглухо забитыми окнами, выдвинутый на самую дорогу. В полдень, в ясную, солнечную погоду, ничего нельзя вообразить печальнее этой развалины. Здесь некогда жил граф Петр Ильич, известный хлебосол, богатый вельможа старого века. Бывало, вся губерния съезжалась у него, плясала и веселилась на славу, при оглушительном громе доморощенной музыки, трескотне бураков и римских свечей; и, вероятно, не одна старушка, проезжая теперь мимо запустелых боярских палат, вздохнет и вспомнит минувшие времена и минувшую молодость. Долго пиروвал граф, долго расхаживал, приветливо улыбаясь, в толпе подобострастных гостей; но имения его, к несчастью, не хватило на целую жизнь. Разорившись кругом, отправился он в Петербург искать себе места и умер в номере гостиницы, не дождавшись никакого решения. Туман служил у него дворецким и еще при жизни графа получил отпускную. Это был человек лет семидесяти, с лицом правильным и приятным. Улыбался он почти постоянно, как улыбаются теперь одни люди екатерининского времени: добродушно и величаво; разговаривая, медленно выдвигал и сжимал губы, ласково щурил глаза и произносил слова несколько в нос. Сморгался и нюхал табак он тоже не торопясь, словно дело делал.

— Ну, что, Михайло Савельич, — начал я, — наловил рыбы?

— А вот извольте в плетушку заглянуть: двух окуньков залучил да головиков штук пять... Покажь, Степа.

Степушка протянул ко мне плетушку.

— Как ты поживаешь, Степан? — спросил я его.

— И... и... и... ни... ничего-о, батюшка, помаленьку, — отвечал Степан, запинаясь, словно пуды языком ворочал.

— А Митрофан здоров?

— Здоров, ка... как же, батюшка.

Бедняк отвернулся.

— Да плохо что-то клюет, — заговорил Туман, — жарко больно; рыба-то вся под кусты забилась, спит... Надень-ко червяка, Степа. (Степушка достал червяка, положил на ладонь, хлопнул по нем раза два, надел на крючок, поплевал и подал Туману.) Спасибо, Степа... А вы, батюшка, — продолжал он, обращаясь ко мне, — охотиться изволите?

— Как видишь.

— Так-с... А что это у вас песик аглицкий али фурлянский какой?

Старик любил при случае показать себя: дескать, и мы живали в свете!

— Не знаю, какой он породы, а хорош.

— Так-с... А с собаками изволите ездить?

— Своры две у меня есть.

Туман улыбнулся и покачал головой.

— Оно точно: иной до собак охотник, а иному их даром не нужно. Я так думаю, по простому моему разуму: собак больше для важности, так сказать, держать следует... И чтобы всё уж и было в порядке: и лошади чтоб были в порядке, и псари как следует, в порядке, и всё. Покойный граф — царство ему небесное! — охотником отродясь, признаться, не бывал, а собак держал и раза два в год выезжать изволил. Соберутся псари на дворе в красных кафтанах с галунами и в трубу протрубят; их сиятельство выйти изволят, и коня их сиятельству подведут; их сиятельство сядут, а главный ловчий им ножки в стремя вденет, шапку с головы снимет и поводья в шапке подаст. Их сиятельство арапельником этак изволят щелкнуть, а псари загогочут, да и двинутся со двора долой. Стремянный-то за графом поедет, а сам на шелковой сворке двух любимых барских собачек держит и этак наблюдает, знает... И сидит-то он, стремянный-то, высоко, высоко, на казацком седле, краснощекий такой, глазищами так и водит... Ну, и гости, разумеется, при этом случае бывают. И забава, и почет соблюден... Ах, сорвался, азияец! — прибавил он вдруг, дернув удочкой.

— А что, говорят, граф-таки пожил на своем веку? — спросил я.

Старик поплевал на червяка и закинул удочку.

— Вельможественный был человек, известно-с. К нему, бывало, первые, можно сказать, особы из Петербурга заезжали. В голубых лентах, бывало, за столом сидят и кушают. Ну, да уж и угощать был мастер. Призовет, бывало, меня: «Туман, говорит, мне к завтрешнему числу живых стерлядей требуется: прикажи достать, слышишь?» — «Слушаю, ваше сиятельство». Кафтаны шитые, парики, трости, духи, ладеколон первого сорта, табакерки, картины этакие большущие, из самого Парижа выписывал. Задаст банкет, — господи, владыко живо-та моего! фейверки пойдут, катанья! Даже из пушек палят. Музыкан-

тов одних сорок человек налицо состояло. Кампельмейстера из немцев держал, да зазнался больно немец; с господами за одним столом кушать захотел; так и велели их сиятельство прогнать его с богом: у меня и так, говорит, музыканты свое дело понимают. Известно: господская власть. Плясать пустятся — до зари пляшут, и всё больше лакосез-матрадура...Э... э... э... попался, брат! (Старик вытащил из воды небольшого окуня.) На-ко, Степа. — Барин был, как следует, барин, — продолжал старик, закинув опять удочку, — и душа была тоже добрая. Побьет, бывало, тебя, — смотришь, уж и позабыл. Одно: матросок держал. Ох, уж эти матрески, прости господи! Оне-то его и разорили. И ведь всё больше из низкого сословия выбирал. Кажись, чего бы им еще? Так нет, подавай им что ни на есть самого дорогого в целой Европии! И то сказать: почему не пожить в свое удовольствие, — дело господское... да разоряться-то не след. Особенно одна: Акулиной ее называли; теперь она покойница, — царство ей небесное! Девка была простая, ситовского десятского дочь, да такая злющая! По щекам, бывало, графа бьет. Околдовала его совсем. Племяннику моему лоб забрила: на новое платье щеколат ей обронил... и не одному ему забрила лоб. Да... А всё-таки хорошее было времечко! — прибавил старик с глубоким вздохом, потупился и умолк.

— А барин-то, я вижу, у вас был строг? — начал я после небольшого молчания.

— Тогда это было во вкусе, батюшка, — возразил старик, качнув головой.

— Теперь уж этого не делается, — заметил я, не спуская с него глаз.

Он посмотрел на меня сбоку.

— Теперь, вестимо, лучше, — пробормотал он — и далеко закинул удочку.

Мы сидели в тени; но и в тени было душно. Тяжелый, знойный воздух словно замер; горячее лицо с тоской искало ветра, да ветра-то не было. Солнце так и било с синего, потемневшего неба; прямо перед нами, на другом берегу, желтело овсяное поле, кое-где проросшее полынью, и хоть бы один колос пошевелинулся. Немного пониже крестьянская лошадь стояла в реке по колени и лениво обмахивалась мокрым хвостом; изредка под нависшим кустом всплывала большая рыба, пускала пузыри и тихо погружалась на дно, оставив за собою легкую зыбь. Кузнечики трещали в порыжелой траве; перепела кричали как бы нехотя; ястреба плавно носились над полями и часто останавливались на месте, быстро махая крылами и распутив хвост веером. Мы сидели неподвижно, подавленные жаром. Вдруг позади нас, в овраге, раздался шум: кто-то спускался к источнику. Я оглянулся и увидел мужика лет пятидесяти, запыленного, в рубашке, в лаптях, с плетеной котомкой и армяком за плечами. Он подошел к ключу, с жадностью наполнил и приподнялся.

— Э, Влас? — вскрикнул Туман, взглядевшись в него. — Здорово, брат. Откуда бог принес?

— Здорово, Михаила Савельич, — проговорил мужик, подходя к нам, — издавеча.

— Где пропадал? — спросил его Туман.

— А в Москву ходил, к барину.

— Зачем?

— Просить его ходил.

— О чем просить?

— Да чтоб оброку сбавил аль на барщину посадил, переселил, что ли... Сын у меня умер, — так мне одному теперь не справиться.

— Умер твой сын?

— Умер. Покойник, — прибавил мужик, помолчав, — у меня в Москве в извозчиках жил; за меня, признаться, и оброк вносил.

— Да разве вы теперь на оброке?

— На оброке.

— Что ж твой барин?

— Что барин? Прогнал меня. Говорит, как смеешь прямо ко мне идти: на то есть приказчик; ты, говорит, сперва приказчику обязан донести... да и куда я тебя переселю? Ты, говорит, сперва недоимку за себя взнеси. Осерчал вовсе.

— Ну, что ж, ты и пошел назад?

— И пошел. Хотел было справиться, не оставил ли покойник какого по себе добра, да толку не добился. Я хозяину-то его говорю: «Я, мол, Филиппов отец»; а он мне говорит: «А я почему знаю? Да и сын твой ничего, говорит, не оставил; еще у меня в долгу». Ну, я и пошел.

Мужик рассказывал нам всё это с усмешкой, словно о другом речь шла; но на маленькие и съезженные его глазки навертывалась слезинка, губы его подергивало.

— Что ж ты, теперь домой идешь?

— А то куда? Известно, домой. Жена, чай, теперь с голоду в кулак свистит.

— Да ты бы... того... — заговорил внезапно Степушка, смешался, замолчал и принялся копать в горшке.

— А к приказчику пойдешь? — продолжал Туман, не без удивления взглянув на Степу.

— Зачем я к нему пойду?.. За мной и так недоимка. Сын-то у меня перед смертью с год хворал, так и за себя оброку не взнес... Да мне с полугория: взять-то с меня нечего... Уж, брат, как ты там ни хитри, — шалишь: безответная моя голова! (Мужик рассмеялся.) Уж он там как ни мудри, Кинтильян-то Семеныч, а уж...

Влас опять засмеялся.

— Что ж? Это плохо, брат Влас, — с расстановкой произнес Туман.

— А чем плохо? Не... (У Власа голос прервался.) Эка жара стоит, — продолжал он, утирая лицо рукавом.

— Кто ваш барин? — спросил я.

— Граф***, Валериан Петрович.

— Сын Петра Ильича?

— Петра Ильича сын, — отвечал Туман. — Петр Ильич, покойник, Власову-то деревню ему при жизни уделил.

— Что, он здоров?

— Здоров, слава богу, — возразил Влас — Красный такой стал, лицо словно обложилось.

— Вот, батюшка, — продолжал Туман, обращаясь ко мне, — добро бы под Москвой, а то здесь на оброк посадил.

— А почем с тягла?

— Девяносто пять рублей с тягла, — пробормотал Влас.

— Ну вот, видите; а земли самая малость, только и есть что господский лес.

— Да и тот, говорят, продали, — заметил мужик.

— Ну, вот видите... Степа, дай-ка червяка... А, Степа? Что ты, заснул, что ли?

Степушка встрепенулся. Мужик подсел к нам. Мы опять приумомкли. На другом берегу кто-то затянул песню, да такую унылую... Пригорюнился мой бедный Влас...

Через полчаса мы разошлись.

УЕЗДНЫЙ ЛЕКАРЬ

Однажды осенью, на возвратном пути с отъезжего поля, я простудился и занемог. К счастью, лихорадка застигла меня в уездном городе, в гостинице; я послал за доктором. Через полчаса явился уездный лекарь, человек небольшого роста, худенький и черноволосый. Он прописал мне обычное потогонное, велел приставить горчичник, весьма ловко запустил к себе под обшлаг пятирублевую бумажку, причем, однако, сухо кашлянул и глянул в сторону, и уже совсем было собрался отправиться восвояси, да как-то разговорился и остался. Жар меня томил; я предвидел бессонную ночь и рад был поболтать с добрым человеком. Подали чай. Пустился мой доктор в разговоры. Малый он был неглупый, выражался бойко и довольно забавно. Странные дела случаются на свете: с иным человеком и долго живешь вместе и в дружественных отношениях находишься, а ни разу не заговоришь с ним откровенно, от души; с другим же едва познакомиться успеешь — глядь, либо ты ему, либо он тебе, словно на исповеди, всю подноготную и проболтал. Не знаю, чем я заслужил доверенность моего нового приятеля, — только он, ни с того ни с сего, как говорится, «взял» да и рассказал мне довольно замечательный случай; а я вот и довожу теперь его рассказ до сведения благосклонного читателя. Я постараюсь выразаться словами лекаря.

— Вы не изволите знать, — начал он расслабленным и дрожащим голосом (таково действие беспримесного березовского табаку), — вы не изволите знать здешнего судью, Мылова, Павла Лукича?.. Не знаете... Ну, всё равно. (Он откашлялся и протер глаза.) Вот, изволите ви-

деть, дело было этак, как бы вам сказать — не солгать, в великий пост, в самую ростепель. Сижу я у него, у нашего судьи, и играю в преферанс. Судья у нас хороший человек и в преферанс играть охотник. Вдруг (мой лекарь часто употреблял слово: вдруг) говорят мне: человек ваш вас спрашивает. Я говорю: что ему надобно? Говорят, записку принес, — должно быть, от больного. Подай, говорю, записку. Так и есть: от больного... Ну, хорошо, — это, понимаете, наш хлеб... Да вот в чем дело: пишет ко мне помещица, вдова; говорит, дескать, дочь умирает, приезжайте, ради самого господа бога нашего, и лошади, дескать, за вами присланы. Ну, это еще всё ничего... Да живет-то она в двадцати верстах от города, а ночь на дворе, и дороги такие, что фа! Да и сама беднеющая, больше двух целковых ожидать тоже нельзя, и то еще сумнительно, а разве холстом придется попользоваться да крупичами какими-нибудь. Однако долг, вы понимаете, прежде всего: человек умирает. Передаю вдруг карты непременно члену Каллиопину и отправляюсь домой. Гляжу: стоит тележечка перед крыльцом; лошади крестьянские — пузатые-препузатые, шерсть на них — войлоко настоящее, и кучер, ради уваженья, без шапки сидит. Ну, думаю, видно, брат, господа-то твои не на золоте едят... Вы изволите смеяться, а я вам скажу: наш брат, бедный человек, всё в соображенье принимай... Коли кучер сидит князем, да шапки не ломает, да еще посмеивается из-под бороды, да кнутиком шевелит — смело бей на две депозитки! А тут, вижу, дело-то не тем пахнет. Однако, думаю, делать нечего: долг прежде всего. Захватываю самонужнейшие лекарства и отправляюсь. Поверите ли, едва дотащился. Дорога адская: ручьи, снег, грязь, водомоины, а там вдруг плотину прорвало — беда! Однако приезжаю. Домик маленький, соломой крыт. В окнах свет: знать, ждуг. Вхожу. Навстречу мне старушка, почтенная такая, в чепце. «Спасите, говорит, умирает». Я говорю: «Не извольте беспокоиться... Где больная?» — «Вот сюда пожалуйте». Смотрю: комнатка чистенькая, в углу лампада, на постеле девица лет двадцати, в беспамятстве. Жаром от нее так и пышет, дышит тяжело — горячка. Тут же другие две девицы, сестры, — перепуганы, в слезах. «Вот, говорят, вчера была совершенно здорова и кушала с аппетитом; поутру сегодня жаловалась на голову, а к вечеру вдруг вот в каком положении...» Я опять-таки говорю: «Не извольте беспокоиться», — докторская, знаете, обязанность, — и приступил. Кровь ей пустил, горчичники поставить велел, микстурку прописал. Между тем я гляжу на нее, гляжу, знаете, — ну, ей-богу, не видал еще такого лица... красавица, одним словом! Жалость меня так и разбирает. Черты такие приятные, глаза... Вот, слава богу, успокоилась; пот выступил, словно опомнилась; кругом поглядела, улыбнулась, рукой по лицу провела... Сестры к ней нагнулись, спрашивают: «Что с тобою?» — «Ничего», — говорит, да и отворотилась... Гляжу — заснула. Ну, говорю, теперь следует больную в покое оставить. Вот мы все на цыпочках и вышли вон; горничная одна осталась на всякий случай. А в гостиной уж самовар на столе, и змайский тут же стоит: в нашем деле без этого нельзя. Подали мне чай, просят остаться ночевать.

вать... Я согласился: куда теперь ехать! Старушка всё охает. «Чего вы? — говорю. — Будет жива, не извольте беспокоиться, а лучше отдохните-ка сами: второй час». — «Да вы меня прикажете разбудить, коли что случится?» — «Прикажу, прикажу». Старушка отправилась, и девицы также пошли к себе в комнату; мне постель в гостиной постлали. Вот я лег, — только не могу заснуть, — что за чудеса! Уж на что, кажется, научился. Всё моя больная у меня с ума нейдет. Наконец не вытерпел, вдруг встал; думаю, пойду посмотрю, что делает пациент? А спальня-то ее с гостиной рядом. Ну, встал, растворил тихонько дверь, а сердце так и бьется. Гляжу: горничная спит, рот раскрыла и храпит даже, бестия! а больная лицом ко мне лежит и руки разметала, бедняжка! Я подошел... Как она вдруг раскроет глаза и уставится на меня!.. «Кто это? кто это?» Я сконфузился. «Не пугайтесь, говорю, сударыня: я доктор, пришел посмотреть, как вы себя чувствуете». — «Вы доктор?» — «Доктор, доктор... Матушка ваша за мною в город посылали; мы вам кровь пустили, сударыня; теперь извольте почивать, а дня этак через два мы вас, даст бог, на ноги поставим». — «Ах, да, да, доктор, не дайте мне умереть... пожалуйста, пожалуйста». — «Что вы это, бог с вами!» А у ней опять жар, думаю я про себя; пощупал пульс: точно, жар. Она посмотрела на меня — да как возьмет меня вдруг за руку. «Я вам скажу, почему мне не хочется умереть, я вам скажу, я вам скажу... теперь мы одни; только вы, пожалуйста, никому... послушайте...» Я нагнулся; придвинула она губы к самому моему уху, волосами щеку мою трогает, — признаюсь, у меня самого кругом пошла голова, — и начала шептать... Ничего не понимаю... Ах, да это она бредит... Шептала, шептала, да так проворно и словно не по-русски, кончила, вздрогнула, уронила голову на подушку и пальцем мне погрозила. «Смотрите же, доктор, никому...» Кое-как я ее успокоил, дал ей напиток, разбудил горничную и вышел.

Тут лекарь опять с ожесточением понюхал табаку и на мгновение оцепенел.

— Однако, — продолжал он, — на другой день больной, в противность моим ожиданиям, не полегчало. Я подумал, подумал и вдруг решил остаться, хотя меня другие пациенты ожидали... А вы знаете, этим неглижировать нельзя: практика от этого страдает. Но, во-первых, больная действительно находилась в отчаянии; а во-вторых, надо правду сказать, я сам чувствовал сильное к ней расположение. Притом же и всё семейство мне нравилось. Люди они были хоть и неимущие, но образованные, можно сказать, на редкость... Отец-то у них был человек ученый, сочинитель; умер, конечно, в бедности, но воспитание детям успел сообщить отличное; книг тоже много оставил. Потому ли, что хлопотал-то я усердно около больной, по другим ли каким-либо причинам, только меня, смею сказать, полюбили в доме, как родного... Между тем распутица сделалась страшная: все сообщения, так сказать, прекратились совершенно; даже лекарство с трудом из города доставлялось... Больная не поправлялась... День за день, день за день... Но вот-с... тут-с... (Лекарь помолчал.) Право, не знаю,

как бы вам изложить-с... (Он снова понюхал табак, крякнул и хлебнул глоток чаю.) Скажу вам без обиняков, больная моя... как бы это того... ну, полюбила, что ли, меня... или нет, не то чтобы полюбила... а, впрочем... право, как это, того-с... (Лекарь потупился и покраснел.)

— Нет, — продолжал он с живостью, — какое полюбила! Надо себе, наконец, цену знать. Девица она была образованная, умная, начитанная, а я даже латынь-то свою позабыл, можно сказать, совершенно. Насчет фигуры (лекарь с улыбкой взглянул на себя) также, кажется, нечем хвастаться. Но дураком господь бог тоже меня не уродил: я белое черным не назову; я кое-что тоже смекаю. Я, например, очень хорошо понял, что Александра Андреевна — ее Александрой Андреевной звали — не любовь ко мне почувствовала, а дружеское, так сказать, расположение, уважение, что ли. Хотя она сама, может быть, в этом отношении ошибалась, да ведь положение ее было какое, вы сами рассудите... Впрочем, — прибавил лекарь, который все эти отрывистые речи произнес, не переводя духа и с явным замешательством, — я, кажется, немного зарапортовался... Этак вы ничего не поймете... а вот, позвольте, я вам всё по порядку расскажу.

Он допил стакан чаю и заговорил голосом более спокойным.

— Так, так-то-с. Моей больной всё хуже становилось, хуже, хуже. Вы не медик, милостивый государь; вы понять не можете, что происходит в душе нашего брата, особенно на первых порах, когда он начинает догадываться, что болезнь-то его одолевает. Куда денется самоуверенность! Оробеешь вдруг так, что и сказать нельзя. Так тебе и кажется, что и позабыл-то ты всё, что знал, и что больной-то тебе больше не доверяет, и что другие уже начинают замечать, что ты потерялся, и неохотно симптомы тебе сообщают, исподлобья глядят, шепчутся... э, скверно! Ведь есть же лекарство, думаешь, против этой болезни, стоит только найти. Вот не оно ли? Попробуешь — нет, не оно! Не даешь времени лекарству как следует подействовать... то за то хватишься, то за то. Возьмешь, бывало, рецептурную книгу... ведь тут оно, думаешь, тут! Право слово, иногда наобум раскроешь: авось, думаешь, судьба... А человек меж тем умирает; а другой бы его лекарь спас. Консилиум, говоришь, нужен; я на себя ответственности не беру. А уж каким дураком в таких случаях глядишь! Ну, со временем обтерпишься, ничего. Умер человек — не твоя вина: ты по правилам поступал. А то вот что еще мучительно бывает: видишь доверие к тебе слепое, а сам чувствуешь, что не в состоянии помочь. Вот именно такое доверие всё семейство Александры Андреевны ко мне возымело: и думать позабыли, что у них дочь в опасности. Я их тоже, с своей стороны, уверяю, что ничего, дескать, а у самого душа в пятки уходит. К довершению несчастья, такая подошла распутица, что за лекарством по целым дням, бывало, кучер ездит. А я из комнаты больной не выхожу, оторваться не могу, разные, знаете, смешные анекдоты рассказываю, в карты с ней играю. Ночи просиживаю. Старушка меня со слезами благодарит; а я про себя думаю: «Не стою я твоей благодарности». Признаюсь вам откровенно — теперь не для чего скрываться —

влюбился я в мою больную. И Александра Андреевна ко мне привязалась: никого, бывало, к себе в комнату, кроме меня, не пускает. Начнет со мной разговаривать, — спрашивает меня, где я учился, как живу, кто мои родные, к кому я езжу? И чувствую я, что не след ей разговаривать; а запретить ей, решительно этак, знаете, запретить — не могу. Схвачу, бывало, себя за голову: «Что ты делаешь, разбойник?..» А то возьмет меня за руку и держит, глядит на меня, долго, долго глядит, отвернется, вздохнет и скажет: «Какой вы добрый!» Руки у ней такие горячие, глаза большие, томные. «Да, говорит, вы добрый, вы хороший человек, вы не то, что наши соседи... нет, вы не такой, вы не такой... Как это я до сих пор вас не знала!» — «Александра Андреевна, успокойтесь, говорю... я, поверьте, чувствую, я не знаю, чем заслужил... только вы успокойтесь, ради бога, успокойтесь... всё хорошо будет, вы будете здоровы». А между тем, должен я вам сказать, — прибавил лекарь, нагнувшись вперед и подняв кверху брови, — что с соседями они мало водились оттого, что мелкие им не под стать приходились, а с богатыми гордость запрещала знаясь. Я вам говорю: чрезвычайно образованное было семейство, — так мне, знаете, и лестно было. Из одних моих рук лекарство принимала... приподнимется, бедняжка, с моею помощью, примет и взглянет на меня... сердце у меня так и покатится. А между тем ей всё хуже становилось, всё хуже: умрет, думаю, непременно умрет. Поверите ли, хоть самому в гроб ложиться; а тут мать, сестры наблюдают, в глаза мне смотрят... и доверие проходит. «Что? Как?» — «Ничего-с, ничего-с!» А какое ничего-с, ум мешается. Вот-с, сию я однажды ночью, один опять, возле больной. Девка тут тоже сидит и храпит во всю ивановскую... Ну, с несчастной девки взыскать нельзя: затормошилась и она. Александра-то Андреевна весьма нехорошо себя весь вечер чувствовала; жар ее замучил. До самой полуночи всё металась; наконец словно заснула; по крайней мере не шевелится, лежит. Лампада в углу перед образом горит. Я сию, знаете, потупился, дремлю тоже. Вдруг, словно меня кто под бок толкнул, обернулся я... Господи, боже мой! Александра Андреевна во все глаза на меня глядит... губы раскрыты, щеки так и горят, «Что с вами?» — «Доктор, ведь я умру?» — «Помилуй бог!» — «Нет, доктор, нет, пожалуйста, не говорите мне, что я буду жива... не говорите... если б вы знали... послушайте, ради бога не скрывайте от меня моего положения! — А сама так скоро дышит. — Если я буду знать наверное, что я умереть должна... я вам тогда всё скажу, всё!» — «Александра Андреевна, помилуйте!» — «Послушайте, ведь я не спала несколько, я давно на вас гляжу... ради бога... я вам верю, вы человек добрый, вы честный человек, заклинаю вас всем, что есть святого на свете, — скажите мне правду! Если б вы знали, как это для меня важно... Доктор, ради бога скажите, я в опасности?» — «Что я вам скажу, Александра Андреевна, — помилуйте!» — «Ради бога, умоляю вас!» — «Не могу скрыть от вас, Александра Андреевна, — вы точно в опасности, но бог милостив...» — «Я умру, я умру...» И она словно обрадовалась, лицо такое веселое стало; я испугался. «Да не бойтесь, не бойтесь, меня

смерть нисколько не страшает». Она вдруг приподнялась и оперлась на локоть. «Теперь... ну, теперь я могу вам сказать, что я благодарна вам от всей души, что вы добрый, хороший человек, что я вас люблю...» Я гляжу на нее, как шальной; жутко мне, знаете... «Слышите ли, я люблю вас...» — «Александра Андреевна, чем же я заслужил!» — «Нет, нет, вы меня не понимаете... ты меня не понимаешь...» И вдруг она протянула руки, схватила меня за голову и поцеловала... Поверите ли, я чуть-чуть не закричал... бросился на колени и голову в подушки спрятал. Она молчит; пальцы ее у меня на волосах дрожат; слышу: плачет. Я начал ее утешать, уверять... я уж, право, не знаю, что я такое ей говорил. «Девку, говорю, разбудите, Александра Андреевна... благодарю вас... верьте... успокойтесь». — «Да полно же, полно, — твердила она. — Бог с ними со всеми; ну, проснутся, ну, придут — всё равно: ведь умру же я... Да и ты чего робеешь, чего боишься? Подними голову... Или вы, может быть, меня не любите, может быть, я обманулась... в таком случае извините меня». — «Александра Андреевна, что вы говорите?... я люблю вас, Александра Андреевна». Она взглянула мне прямо в глаза, раскрыла руки. «Так обними же меня...» Скажу вам откровенно: я не понимаю, как я в ту ночь с ума не сошел. Чувствую я, что больная моя себя губит; вижу, что не совсем она в памяти; понимаю также и то, что не почитай она себя при смерти, — не подумала бы она обо мне; а то ведь, как хотите, жутко умирать в двадцать пять лет, никого не любивши: ведь вот что ее мучило, вот отчего она, с отчаянья, хоть за меня ухватилась, — понимаете теперь? Ну не выпускает она меня из своих рук. «Пощадите меня, Александра Андреевна, да и себя пощадите, говорю». — «К чему, говорит, чего жалеть? Ведь должна же я умереть...» Это она беспрестанно повторяла. «Вот если бы я знала, что я в живых останусь и опять в порядочные барышни попаду, мне бы стыдно было, точно стыдно... а то что?» — «Да кто вам сказал, что вы умрете?» — «Э, нет, полно, ты меня не обманешь, ты лгать не умеешь, посмотри на себя». — «Вы будете живы, Александра Андреевна, я вас вылечу; мы испросим у вашей матушки благословение... мы соединимся узами, мы будем счастливы». — «Нет, нет, я с вас слово взяла, я должна умереть... ты мне обещал... ты мне сказал...» Горько было мне, по многим причинам горько. И посудите, вот какие иногда приключаются вещицы: кажется, ничего, а больно. Вздумалось ей спросить меня, как мое имя, то есть не фамилия, а имя. Надо же несчастье такое, что меня Трифоном зовут. Да-с, да-с; Трифоном, Трифоном Иванычем. В доме-то меня все доктором звали. Я, делать нечего, говорю: «Трифон, сударыня». Она прищурилась, покачала головой и прошептала что-то по-французски, — ох, да недоброе что-то, — и засмеялась потом, нехорошо тоже. Вот этак-то я почти всю ночь провел с ней. Поутру вышел, словно угорелый; вошел к ней опять в комнату уже днем, после чаю. Боже мой, боже мой! Узнать ее нельзя: краше в гроб кладут. Честью вам клянусь, не понимаю теперь, не понимаю решительно, как я эту пытку выдержал. Три дня, три ночи еще проскрипела моя больная... и какие ночи! Что она мне говорила!.. А в

последнюю-то ночь, вообразите вы себе, — сижу я подле нее и уж об одном бога прошу: прибери, дескать, ее поскорей, да и меня тут же... Вдруг старушка мать — шась в комнату... Уж я ей накануне сказал, матери-то, что мало, дескать, надежды, плохо, и священника не худо бы. Больная, как увидела мать, и говорит: «Ну вот, хорошо, что пришла... посмотри-ка на нас, мы друг друга любим, мы друг другу слово дали». — «Что это она, доктор, что она?» Я помертвел. «Бредит-с, говорю, жар...» А она-то: «Полно, полно, ты мне сейчас совсем другое говорил, и кольцо от меня принял... что притворяешься? Мать моя добрая, она простит, она поймет, а я умираю — мне не к чему лгать; дай мне руку...» Я вскочил и вон выбежал. Старушка, разумеется, догадалась.

— Не стану я вас, однако, долее томить, да и мне самому, признаться, тяжело всё это припоминать. Моя больная на другой же день скончалась. Царство ей небесное (прибавил лекарь скороговоркой и со вздохом)! Перед смертью попросила она своих выйти и меня наедине с ней оставить. «Простите меня, говорит, я, может быть, виновата перед вами... болезнь... но, поверьте, я никого не любила более вас... не забывайте же меня... берегите мое кольцо...»

Лекарь отвернулся; я взял его за руку.

— Эх! — сказал он, — давайте-ка о чем-нибудь другом говорить, или не хотите ли в преферансик по маленькой? Нашему брату, знаете ли, не след таким возвышенным чувствованиям предаваться. Наш брат думай об одном: как бы дети не пищали да жена не бранилась. Ведь я с тех пор в законный, как говорится, брак вступить успел... Как же... Купеческую дочь взял: семь тысяч приданого. Зовут ее Акулиной; Трифону-то под стать. Баба, должен я вам сказать, злая, да благо спит целый день... А что ж преферанс?

Мы сели в преферанс по копейке. Трифон Иваныч выиграл у меня два рубля с полтиной — и ушел поздно, весьма довольный своей победой.

МОЙ СОСЕД РАДИЛОВ

...Осенью вальдшнепы часто держатся в старинных липовых садах. Таких садов у нас в Орловской губернии довольно много. Прадеды наши, при выборе места для жительства, непременно отбивали десятины две хорошей земли под фруктовый сад с липовыми аллеями. Лет через пятьдесят, много семьдесят, эти усадьбы, «дворянские гнезда», понемногу исчезали с лица земли, дома сгнивали или продавались на своз, каменные службы превращались в груды развалин, яблони вымирали и шли на дрова, заборы и плетни истреблялись. Одни липы по-прежнему росли себе на славу и теперь, окруженные распаханными полями, гласят нашему ветреному племени о «прежде почивших отцах и братиях». Прекрасное дерево — такая старая липа... Ее щадит

даже безжалостный топор русского мужика. Лист на ней мелкий, могучие сучья широко раскинулись во все стороны, вечная тень под ними.

Однажды, скитаясь с Ермолаем по полям за куропатками, завидел я в стороне заброшенный сад и отправился туда. Только что я вошел в опушку, вальдшнеп со стуком поднялся из куста, — я выстрелил, и в то же мгновение, в нескольких шагах от меня, раздался крик: испуганное лицо молодой девушки выглянуло из-за деревьев и тотчас скрылось. Ермолай подбежал ко мне. «Что вы здесь стреляете: здесь живет помещик».

Не успел я ему ответить, не успела собака моя с благородной важностью донести до меня убитую птицу, как послышались проворные шаги, и человек высокого роста, с усами, вышел из чащи и с недовольным видом остановился передо мной. Я извинился, как мог, назвал себя и предложил ему птицу, застреленную в его владениях.

— Извольте, — сказал он мне с улыбкой, — я приму вашу дичь, но только с условием: вы у нас останетесь обедать.

Признаться, я не очень обрадовался его предложению, но отказаться было невозможно.

— Я здешний помещик и ваш сосед, Радилов, может слышали, — продолжал мой новый знакомый. — Сегодня воскресенье, и обед у меня, должно быть, будет порядочный, а то бы я вас не пригласил.

Я отвечал, что отвечают в таких случаях, и отправился вслед за ним. Недавно расчищенная дорожка скоро вывела нас из липовой рощи; мы вошли в огород. Между старыми яблонями и разросшимися кустами крыжовника пестрели круглые бледно-зеленые кочаны капусты; хмель винтами обвивал высокие тычинки; тесно торчали на грядах бурые прутья, перепутанные засохшим горохом; большие плоские тыквы словно валялись на земле; огурцы желтели из-под запыленных угловатых листьев; вдоль плетня качалась высокая крапива; в двух или трех местах кучами росли: татарская жимолость, бузина, шиповник — остаток прежних «клумб». Возле небольшой сажалки, наполненной красноватой и слизистой водой, виднелся колодезь, окруженный лужицами. Утки хлопотливо плескались и ковыляли в этих лужицах; собака, дрожа всем телом и жмурясь, грызла кость на поляне; пегая корова тут же лениво щипала траву, изредка закидывая хвост на худую спину. Дорожка повернула в сторону; из-за толстых раkit и берез глянул на нас старенький, серый домик с тесовой крышей и кривым крыльцом. Радилов остановился.

— Впрочем, — сказал он, добродушно и прямо посмотрев мне в лицо, — я теперь раздумал; может быть, вам вовсе не хочется заходить ко мне: в таком случае...

Я не дал ему договорить и уверил его, что мне, напротив, очень приятно будет у него отобедать.

— Ну, как знаете.

Мы вошли в дом. Молодой малый, в длинном кафтане из синего толстого сукна, встретил нас на крыльце. Радилов тотчас приказал ему

поднести водки Ермолаю; мой охотник почтительно поклонился спине великодушного дателя. Из передней, заклеенной разными пестрыми картинами, завешенной клетками, вошли мы в небольшую комнатку — кабинет Радилова. Я снял свои охотничьи доспехи, поставил ружье в угол; малый в длинном полове сюртуке хлопотливо обчистил меня.

— Ну, теперь пойдёмте в гостиную, — ласково проговорил Радилов, — я вас познакомлю с моей матушкой.

Я пошел за ним. В гостиной, на среднем диване, сидела старушка небольшого роста, в коричневом платье и белом чепце, с добреньким и худеньким лицом, робким и печальным взглядом.

— Вот, матушка, рекомендую: сосед наш***.

Старушка привстала и поклонилась мне, не выпуская из сухощавых рук толстого гарусного ридикуля в виде мешка.

— Давно вы пожаловали в нашу сторону? — спросила она слабым и тихим голосом, помаргивая глазами.

— Нет-с, недавно.

— Долго намерены здесь остаться?

— Думаю, до зимы.

Старушка замолчала.

— А вот это, — подхватил Радилов, указывая мне на человека высокого и худого, которого я при входе в гостиную не заметил, — это Федор Михеич... Ну-ка, Федя, покажи свое искусство гостю. Что ты забился в угол-то?

Федор Михеич тотчас поднялся со стула, достал с окна дрянненькую скрипку, взял смычок — не за конец, как следует, а за середину, прислонил скрипку к груди, закрыл глаза и пустился в пляс, напевая песенку и пиликаая по струнам. Ему на вид было лет семьдесят; длинный нанковый сюртук печально болтался на сухих и костлявых его членах. Он плясал; то с удалством потряхивал, то, словно замирая, поводил маленькой лысой головкой, вытягивал жилистую шею, топтал ногами на месте, иногда, с заметным трудом, сгибал колени. Его беззубый рот издавал дряхлый голос. Радилов, должно быть, догадался по выражению моего лица, что мне «искусство» Феде не доставляло большого удовольствия.

— Ну, хорошо, старина, полно, — проговорил он, — можешь пойти наградить себя.

Федор Михеич тотчас положил скрипку на окно, поклонился сперва мне, как гостю, потом старушке, потом Радилову и вышел вон.

— Тоже был помещик, — продолжал мой новый приятель, — и богатый, да разорился — и вот проживает теперь у меня... А в свое время считался первым по губернии хватом; двух жен от мужей увез, песельников держал, сам певал и плясал мастерски... Но не прикажете ли водки? Ведь уж обед на столе.

Молодая девушка, та самая, которую я мельком видел в саду, вошла в комнату.

— А вот и Оля! — заметил Радилов, слегка отвернув голову, — прошу любить и жаловать... Ну, пойдёмте обедать.

РАССКАЗЫ

ТРИ ПОРТРЕТА

«Соседство» составляет одну из важнейших неприятностей деревенской жизни. Я знал одного вологодского помещика, который, при всяком удобном случае, повторял следующие слова: «Слава богу, у меня нет соседей», — и, признаюсь, не мог не завидовать этому счастливому смертному. Моя деревенька находится в одной из многочисленнейших губерний России. Я окружен великим множеством соседей, начиная с благонамеренных и почтенных помещиков, облеченных в просторные фраки и просторнейшие жилеты, и кончая записными гуляками, носящими венгерки с длинными рукавами и так называемым «фимским» узлом на спине. В числе всех этих дворян случайным образом открыл я, однако ж, одного весьма любезного малого: он прежде служил в военной службе, потом вышел в отставку и поселился на веки веков в деревне. По его рассказам, он служил два года в П — м полку; но я решительно не понимаю, как мог этот человек нести какую-нибудь обязанность не только в течение двух лет, но даже в продолжение двух дней. Он был рожден «для жизни мирной, для деревенской тишины», то есть для ленивого, беспечного прозябания, которое, замечу в скобках, не лишено великих и неистощимых прелестей. Он пользовался весьма порядочным состоянием: не заботясь слишком о хозяйстве, проживал около десяти тысяч рублей в год, достал себе прекрасного повара (мой приятель любил хорошо покушать); также выписывал себе из Москвы новейшие французские книги и журналы. По-русски же читал он одни лишь донесения своего приказчика и то с большим трудом. Он с утра (если не уезжал на охоту) до обеда и за обедом не покидал халата; перебирал какие-нибудь хозяйственные рисунки, не то отправлялся на конюшню или в молотильный сарай и пересмеивался с бабами, которые при нем взмахивали цепями, как говорится, спрохвалá. После обеда мой друг одевался перед зеркалом весьма тщательно и ехал к какому-нибудь соседу, одаренному двумя или тремя хорошенькими дочками; беспечно и миролюбиво волочился за одной из них, играл с ними в жмурки, возвращался домой довольно поздно и тотчас же засыпал богатырским сном. Он скучать не мог, потому что никогда не предавался полному бездействию; а на выбор занятий не был прихотлив и, как ребенок, тешился

малейшей безделицей. С другой стороны — особенной привязанности к жизни он не чувствовал и, бывало, когда приходилось *перескакивать* волка или лисицу, — пускал свою лошадь во всю прыть по таким рытвинам, что я до сих пор понять не могу, как он себе сто раз не сломал шею. Он принадлежал к числу тех людей, которые возбуждают в вас мысль, что они сами себе не знают цены, что под их наружным равнодушием скрываются сильные и великие страсти; но он бы рассмеялся вам в нос, если б мог догадаться, что вы питаете о нем подобное мнение; да и, признаться сказать, я сам думаю, что если и водилось за моим приятелем в молодости какое-нибудь хотя неясное, но сильное стремление к тому, что весьма мило названо «чем-то высшим», то это стремление давным-давно в нем угомонилось и *зачичкало*. Он был довольно толст и наслаждался превосходным здоровьем. В наш век нельзя не любить людей, мало помышляющих о самих себе, потому что они чрезвычайно редки... а мой приятель едва ли не забыл о своей особе. Впрочем, я, кажется, уже слишком много говорю о нем — и моя болтовня тем более неуместна, что не он служит предметом моего рассказа. Его звали Петром Федоровичем Лучиновым.

В один осенний день съехалось нас человек пять записных охотников у Петра Федоровича. Целое утро мы провели в поле, затравили двух волков и множество зайцев и вернулись домой в том восхитительно приятном расположении духа, которое овладевает всяким порядочным человеком после удачной охоты. Смеркалось. Ветер разыгрывался в темных полях и шумно колебал обнаженные вершины берез и лип, окружавших дом Лучинова. Мы приехали, слезли с коней... на крыльце я остановился и оглянулся: по серому небу тяжко ползли длинные тучи; темно-бурый кустарник крутился на ветре и жалобно шумел; желтая трава бессильно и печально пригибалась к земле; стаи дроздов перелетывали по рябинам, осыпанным ярко-пунцовыми гроздьями; в тонких и ломких сучьях берез с свистом попрыгивали синицы; на деревне сипло лаяли собаки. Мне стало грустно... зато я с истинной отрадой вошел в столовую. Ставни были заперты; на круглом столе, покрытом скатертью ослепительной белизны, среди хрустальных графинов, наполненных красным вином, горело восемь свечей в серебряных подсвечниках; в камине весело пылал огонь, — и старый, весьма благообразный дворецкий, с огромной лысиной, одетый по-английски, стоял в почтительной неподвижности перед другим столом, на котором уже красовалась большая суповая чаша, обвитая легким и пахучим паром. В сенцах мы прошли мимо другого почтенного человека, занятого морожением шампанского — «по строгим правилам искусства». Обед был, как водится в подобных случаях, чрезвычайно приятный; мы хохотали, рассказывали происшествия, случившиеся на охоте, и с восторгом упоминали о двух знаменитых «угонках». Покушавши довольно плотно, расположились мы в широких креслах около камина; на столе появилась объемистая серебряная чаша, и через несколько мгновений беглое пламя запылавшего рома возвестило нам о приятном намерении хозяина «сотворить жженку».

Петр Федорович был человек не без вкуса; он, например, знал, что ничего не действует так убийственно на фантазию, как ровный, холодный и педантический свет ламп — потому велел оставить в комнате всего две свечи. Странные полутени трепетали по стенам, произведенные прихотливою игрою огня в камине и пламенем жженки.... Тихая, чрезвычайной приятная отрада заменила в наших сердцах несколько буйную веселость, господствовавшую за обедом.

Разговоры имеют свои судьбы — как книги (по латинской пословице), как всё на свете. Наш разговор в этот вечер был как-то особенно разнообразен и жив. От частных восходил он к довольно важным общим вопросам, легко и непринужденно возвращался к ежедневностям жизни... Поболтавши довольно много, мы вдруг все замолчали. В это время, говорят, пролетает тихий ангел.

Не знаю, отчего мои товарищи затихли, но я замолчал оттого, что мои глаза остановились внезапно на трех запыленных портретах в черных деревянных рамках. Краски истерлись и кое-где покоробились, но лица можно было еще разобрать. На среднем портрете изображена была женщина молодых лет, в белом платье с кружевными каемками, в высокой прическе восьмидесятих годов. Направо от нее, на совершенно черном фоне виднелось круглое и толстое лицо доброго русского помещика лет двадцати пяти, с низким и широким лбом, тупым носом и простодушной улыбкой. Французская напудренная прическа весьма не согласовалась с выражением его славянского лица. Живописец изобразил его в кафтане алого цвета с большими стразовыми пуговицами; в руке держал он какой-то небывалый цветок. На третьем портрете, писанном другою, более искусною рукою, был представлен человек лет тридцати, в зеленом мундире екатерининского времени, с красными отворотами, в белом камзоле, в тонком батистовом галстуке. Одной рукой опирался он на трость с золотым набалдашником, другую заложил за камзол. Его смуглое худошавое лицо дышало дерзкой надменностью. Тонкие длинные брови почти срастались над черными как смоль глазами; на бледных, едва заметных губах играла недобрая улыбка.

— Что вы это загляделись на эти лица? — спросил меня Петр Федорович.

— Так! — отвечал я, посмотрев на него.

— Хотите ли выслушать целый рассказ об этих трех особах?

— Сделайте одолжение, — отвечали мы в один голос.

Петр Федорович встал, взял свечку, поднес ее к портретам и голосом человека, показывающего диких зверей, «Господа! — провозгласил он, — эта дама — приемш моего родного прадедушки, Ольга Ивановна NN., прозванная Лучиновой, умершая лет сорок тому назад, в девицах. Этот господин, — показывая на портрет мужчины в мундире, — гвардии сержант, Василий Иванович Лучинов же, скончавшийся волею Божию в тысяща семьсот девяностом году; а этот господин, с которым я не имею чести состоять в родстве, некто Павел Афанасьевич Рогачев, нигде, сколько мне известно, не служивший.

Извольте обратить внимание на дыру, находящуюся у него на груди, на самом месте сердца. Эта дыра, как вы видите, правильная, трехгранная, вероятно, не могла произойти случайно... Теперь, — продолжал он обыкновенным своим голосом, — извольте усесться, вооружитесь терпением и слушайте».

— Господа! — начал он, — я происхожу от довольно старинного рода. Я моим происхождением не горжусь, потому что мои предки были все страшные мотыги. Впрочем, этот упрек не относится к моему прадеду, Ивану Андреевичу Лучинову, — напротив: он слыл за человека чрезвычайно бережливого и даже скупого — по крайней мере в последние годы своей жизни. Он провел свою молодость в Петербурге и был свидетелем царствования Елизаветы. В Петербурге он женился и прижил с своей женой, а моей прабабушкой, четырех человек детей — трех сыновей, Василия, Ивана и Павла (моего родного деда), и одну дочь, Наталью. Сверх того, Иван Андреевич принял к себе в семейство дочь одного отдаленного родственника, круглую безымянную сироту — Ольгу Ивановну, о которой я уже вам говорил. Подданные моего дедушки, вероятно, знали о его существовании, потому что высылали к нему (когда не случалось особого несчастья) весьма значительный оброк — но никогда в лицо его не видали. Сельцо Лучиновка, лишенное лицемерия своего господина, процветало, — как вдруг, в одно прекрасное утро, тяжелая колымага въехала в деревню и остановилась перед избой старосты. Мужики, встревоженные таким небывалым происшествием, сбежались и увидали своего барина, барыню и всех их чад, исключая старшего, Василия, оставшегося в Петербурге. С того достопамятного дня и до самой своей кончины Иван Андреевич не выезжал из Лучиновки. Он выстроил себе дом, тот самый, в котором я теперь имею удовольствие беседовать с вами; построил также церковь и начал жить помещиком. Иван Андреевич был человек огромного роста, худой, молчаливый и весьма медлительный во всех своих движениях; никогда не носил халата, и никто, исключая его камердинера, не видал его ненапудренным. Иван Андреевич обыкновенно ходил, заложа руки за спину, медленно поворачивая голову при каждом шаге. Всякий день прогуливался он по длинной липовой аллее, которую сам собственноручно насадил, — и перед смертью имел удовольствие пользоваться тенью этих лип. Иван Андреевич был чрезвычайно скуп на слова; доказательством его молчаливости служит то замечательное обстоятельство, что он в течение двадцати лет не сказал ни одного слова своей супруге, Анне Павловне. Вообще его отношения к Анне Павловне были весьма странного рода. Она заведовала всем домашним хозяйством, за обедом сидела всегда возле своего мужа — он нещадно наказал бы человека, который осмелился бы сказать ей одно непочтительное слово, — а между тем сам с ней никогда не говорил, не прикасался к ее руке. Анна Павловна была робкая, бледная, убитая женщина; каждый день молилась в церкви на коленях и никогда не улыбалась. Толковали, что они прежде, то есть до приезда в деревню, жили в большом ладу; поговаривали также, что

Анна Павловна нарушила свои супружеские обязанности, что муж узнал о ее проступке... Как бы то ни было, но Иван Андреевич, даже умирая, не примирился с ней. Во время последней его болезни она не отлучалась от него; но он, казалось, ее не замечал. В одну ночь Анна Павловна сидела в спальне Ивана Андреевича; его мучила бессонница — лампада горела перед образом; слуга моего дедушки, Юдич, о котором я вам впоследствии скажу два слова, вышел. Анна Павловна встала, перешла через комнату и, рыдая, бросилась на колени перед постелью мужа, хотела что-то сказать — протянула руки... Иван Андреевич посмотрел на нее — и слабым голосом, но твердо закричал: «Человек!» Слуга вошел, Анна Павловна поспешно встала и, шатаясь, возвратилась на свое место.

Дети Ивана Андреевича чрезвычайно его боялись. Они выросли в деревне и были свидетелями странного обхождения Ивана Андреевича с своею женою. Они все страстно любили Анну Павловну, но не смели высказать свою любовь. Она сама как будто их чуждалась... Вы помните, господя, моего деда: он до самой смерти всегда ходил на цыпочках и говорил шёпотом... что значит привычка! Мой дед и брат его, Иван Иванович, были люди простые, добрые, смиренные и грустные; моя grand'-tante¹ Наталья вышла, как вам известно, замуж за грубого и глупого человека и до смерти питала к нему безмолвную, подобострастную, овечью любовь. Но не таков был брат их Василий. Я вам, кажется, сказывал, что Иван Андреевич оставил его в Петербурге. Ему было тогда лет двенадцать. Отец поручил его попечениям одного отдаленного родственника, человека уже не молодого, холостого, страшного вольтерьянца.

Василий вырос, поступил на службу. Он был не велик ростом, но хорошо сложен и чрезвычайно ловок; прекрасно говорил по-французски и славился своим умением драться на шпагах. Его считали одним из блистательных молодых людей начала царствования Екатерины. Отец мой мне часто говаривал, что он знал не одну старушку, которая без сердечного умиления вспомнить не могла о Василье Ивановиче Лучинове. Вообразите себе человека, одаренного необыкновенной силой воли, страстного и расчетливого, терпеливого и смелого, скрытного до чрезвычайности и — по словам всех его современников — очаровательно, обаятельно любезного. В нем не было ни совести, ни доброты, ни честности, хотя никто же не мог назвать его положительным злым человеком. Он был самолюбив — но умел таить свое самолюбие и страстно любил независимость. Когда, бывало, Василий Иванович, улыбаясь, ласково прищурит черные глаза, когда захочет пленить кого-нибудь, говорят, невозможно ему было противиться — и даже люди, уверенные в сухости и холодности его души, не раз поддавались чарующему могуществу его влияния. Он усердно служил самому себе и других заставлял трудиться для своих же выгод, и всегда во всем успевал, потому что никогда не терял головы, не гнушался лести как средства и умел льстить.

¹ двоюродная бабушка (франц.).

Лет десять спустя после поселения Ивана Андреевича в деревне приехал он на четыре месяца в Лучиновку блестящим гвардейским офицером — и в течение этого времени успел вскружить голову даже угрюмому старику, отцу своему. Странно! Иван Андреевич с наслаждением слушал рассказы своего сына о некоторых его *победах*. Братья его немели перед ним и удивлялись ему, как существу высшему. Да и сама Анна Павловна едва ли не полюбила его более всех других детей, так искренно ей преданных...

Василий Иванович приехал в деревню, во-первых, для того, чтобы повидаться с родными, но, во-вторых, и для того, чтобы достать как можно более денег от отца. Он жил пышно и открыто в Петербурге и наделал множество долгов. Нелегко ему было сладить со скупостью родителя, и хоть Иван Андреевич дал ему в один его приезд, вероятно, гораздо более денег, чем всем другим своим сыновьям в продолжение двадцати лет, прожитых ими в родительском доме, но Василий держался известного русского правила: «Брать так брать!» У Ивана Андреевича был слуга; по прозвищу Юдич, такой же высокий, худой и молчаливый человек, как сам его барин. Говорят, этот Юдич был отчасти причиной странного обращения Ивана Андреевича с Анной Павловной: говорят, он открыл преступную связь моей прабабушки с одним из лучших приятелей моего прадеда. Вероятно, Юдич глубоко раскаялся в своей неуместной ревности, потому что трудно вообразить себе более доброго человека. Память его до сих пор священна всем моим дворовым людям. Юдич пользовался неограниченной доверенностью моего прадеда. В то время помещики имели деньги, но не отдавали их на сбережение в заемные учреждения, а сами хранили их в сундуках, в подпольях и т. д. Иван Андреевич держал все свои деньги в большом кованом сундуке, находившемся у него под изголовьем. Ключ от этого сундука был отдан Юдичу. Каждый вечер, ложась спать, Иван Андреевич при себе приказывал отпирать этот сундук, постукивал палкой поочередно по всем туго набитым мешкам, а по субботам сам с Юдичем развязывал мешки и тщательно пересчитывал деньги. Василий проведаль всех этих проделках и возгорел желанием потревожить заветный сундучок. В течение пяти-шести дней он *умягчил* Юдича, то есть довел бедного старика до того, что тот в молодом барине, как говорится, души не чаял. Подготовив его надлежащим образом, Василий прикинулся озлобленным и мрачным, долго не хотел отвечать на расспросы Юдича и, наконец, сказал ему, что он проигрался и что наложит на себя руки, если не достанет где-нибудь денег. Юдич зарыдал, бросился перед ним на колени, просил вспомнить Бога, не губить себя. Василий, не говоря ни слова, заперся в своей комнате. Через несколько времени услышал он, что кто-то осторожно к нему стучится; он отпер дверь и увидел на пороге Юдича, бледного, трепещущего, с ключом в руке. Василий тотчас всё понял. Сперва он долго отказывался. Юдич со слезами твердил: «Извольте, барин! возьмите...» Василий, наконец, согласился. Дело было в понедельник. Василью пришла в голову мысль заменить вынутые деньги битыми черпаками. Он рассчитывал на то, что Иван Андреевич, постукивая по мешкам палкой, не обратит особенного внимания

на едва заметное различие звука — а до субботы он надеялся достать и вложить обратно деньги в сундук. Придуманно — сделано. Отец действительно ничего не заметил. Но к субботе Василий денег не достал; он надеялся на взятые деньги обыграть одного богатого соседа — и, напротив, сам всё проиграл. Между тем настала суббота; дошла очередь и до мешков, набитых черепками. Представьте себе, господу, удивление и негодование Ивана Андреевича!

— Это что значит? — загремел он.

Юдич молчал.

— Ты украл эти деньги?

— Никак нет-с.

— Так кто-нибудь ключ у тебя брал?

— Я никому не отдавал ключа.

— Никому? А когда никому — так ты вор. Сознаться!

— Я не вор, Иван Андреевич.

— Откуда ж взялись эти черепки, чёрт возьми! Так-то ты меня обманываешь? В последний раз говорю тебе — сознайся!

Юдич потупил голову и сложил руки за спиной.

— Эй, люди! — закричал Иван Андреевич испуганным голосом. — Палок!

— Как? меня... наказывать? — прошептал Юдич.

— Вот тебе на! да чем ты лучше других? Ты вор! Ну, Юдич! не ожидал я от тебя такого мошенничества!

— Я поседел на вашей службе, Иван Андреевич, — проговорил с услием Юдич.

— А мне что за дело до твоих седых волос? Чёрт бы тебя побрал с твоей службой!

Люди вошли.

— Возьмите-ка его, да хорошенько!

У Ивана Андреевича побледнели и затряслись губы. Он ходил по комнате, как дикий зверь в тесной клетке.

Люди не смели исполнить его приказания.

— Что же вы стоите, хамовы дети? Иль мне самому за него приняться, что ли?

Юдич пошел было к двери...

— Стойте! — закричал Иван Андреевич. — Юдич, в последний раз говорю тебе, прошу тебя, Юдич, сознайся.

— Не могу! — простонал Юдич.

— Так берите же его, старого подлипалу!.. Насмерть его! В мою голову! — загремел бешеный старик.

Истязание началось...

Дверь вдруг растворилась, и вошел Василий. Он был едва ли еще не бледнее отца, руки его дрожали, верхняя губа приподнялась и обнажила ряд белых и ровных зубов.

— Я виноват, — сказал он глухим, но твердым голосом. — Я взял эти деньги.

Люди остановились.

— Ты! как? ты, Васька! без согласия Юдича?

— Нет! — сказал Юдич, — с моего согласия. Я сам отдал ключ Василью Ивановичу. Батюшка, Василий Иванович! зачем вы изволили беспокоиться?

— Так вот кто вор! — закричал Иван Андреевич. — Спасибо, Василий, спасибо! А тебя, Юдич, я все-таки не помилую. Зачем ты мне тотчас же во всем не сознался? Эй, вы! что вы стали? Или уже и вы моей власти не признаете? А с тобой я справлюсь, голубчик! — прибавил он, обращаясь к Василью.

Люди опять было взялись за Юдича.

— Не трогайте его! — прошептал Василий сквозь зубы. Слуги его не послушались. — Назад! — закричал он и бросился на них... Они отшатнулись.

— А! бунтовать! — простонал Иван Андреевич и, подняв палку, пошел на сына.

Василий отскочил, схватился за рукоять шпаги и обнажил ее до половины. Все затрепетали. Анна Павловна, привлеченная шумом, испуганная, бледная, показалась в дверях.

Страшно изменилось лицо Ивана Андреевича. Он зашатался, уронил палку и тяжело опустился на кресло, закрыв лицо обеими руками. Никто не шевелился, все стояли как вкопанные, не исключая и Василья. Судорожно стискивал он стальную рукоять шпаги, глаза его сверкали унылым, злобным блеском...

— Подите все... все вон, — проговорил тихим голосом Иван Андреевич, не отнимая рук от лица.

Вся толпа вышла. Василий остановился на пороге, потом вдруг тряхнул головой, обнял Юдича, поцеловал руку матери... и через два часа его уже не было в деревне. Он уехал в Петербург.

Вечером того же дня Юдич сидел на крыльце дворовой избы. Люди окружали его, сожалели о нем и горько упрекали барина.

— Полноте, дети, — сказал он им наконец, — полноте... что вы его браните? Он и сам, чай, батюшка наш, своей удали не рад...

Вследствие этого происшествия Василий уже более не видался с своим родителем. Иван Андреевич умер без него, и умер, вероятно, с такой тоской на сердце, какую не дай бог испытать кому-либо из нас. Василий Иванович между тем выезжал, веселился по-своему и сорил деньгами. Как он добывал эти деньги, не могу наверное сказать. Достал он себе слугу француза, ловкого и смышленного малого, некоего Бурсье. Этот человек страстно к нему привязался и помогал ему во всех его многочисленных проделках. Я не намерен рассказывать вам в подробности все проказы моего grand'oncle¹; он отличался такой неограниченной смелостью, такой змеиной изворотливостью, таким непостижимым хладнокровием, таким ловким и тонким умом, что, признаюсь, я понимаю неограниченную власть этого безнравственного человека над самыми благородными душами...

Вскоре после смерти отца Василий Иванович, несмотря на свою изворотливость, был вызван на дуэль одним оскорбленным мужем.

¹ двоюродного дедушки (франц.).

Он дрался, тяжело ранил своего соперника и принужден был выехать из столицы; ему приказали безвыездно жить в своем поместье. Василию Ивановичу было тридцать лет. Вы легко можете себе представить, господа, с какими чувствами этот человек, привыкший к столичной, блестящей жизни, ехал на родину. Говорят, он на дороге часто выходил из кибитки, бросался лицом в снег и плакал. Никто в Лучиновке не узнавал прежнего веселого, любезного Василия Ивановича. Он ни с кем не говорил, с утра до вечера ездил на охоту, с видимым нетерпением сносил робкие ласки своей матери и безжалостно насмехался над братьями, над их женами (они уже оба успели жениться)...

Я вам до сих пор, кажется, ничего не сказал об Ольге Ивановне. Грудным ребенком привезли ее в Лучиновку; она чуть-чуть не умерла на дороге. Ольга Ивановна была воспитана, как говорится, в страхе божием и родительском... надобно сознаться, что Иван Андреевич и Анна Павловна — оба обращались с ней, как с дочерью. Но в ней таилась слабая искра того огня, который так ярко пылал в душе Василья Ивановича. Между тем как настоящие дети Ивана Андреевича не дерзали помышлять о причинах странного, безмолвного раздора между их родителями, — Ольгу с ранних лет тревожило и мучило положение Анны Павловны. Подобно Василью, она любила независимость; всякое притеснение ее возмущало. Она всеми силами души привязалась к своей благодетельнице; старика Лучинова она ненавидела и не раз, сидя за столом, устремляла на него такие мрачные взгляды, что даже человеку, подававшему кушанье, становилось жутко. Иван Андреевич не замечал всех этих взглядов, потому что вообще не обращал никакого внимания на свое семейство.

Сперва Анна Павловна старалась истребить в ней эту ненависть, но некоторые смелые вопросы Ольги заставили ее замолчать совершенно. Дети Ивана Андреевича обожали Ольгу, и старуха ее любила тоже, хотя довольно холодной любовью.

Продолжительное горе подавило в этой бедной женщине всякую веселость, всякое сильное чувство; ничего так ясно не доказывает очаровательной любезности Василья, как то, что он даже мать свою заставил горячо полюбить себя. Излияния детской нежности не были в духе того времени, а потому не удивительно, что Ольга не смела обнаруживать свою приверженность, хотя всегда с особенной почтительностью целовала руку Анны Павловны вечером, при прощании. Читать и писать она едва умела. Двадцать лет спустя русские девицы начали почитать романы вроде Похождения маркиза Глаголя, Фанфана и Лолоты, Алексея, или Хижины в лесу; начали учиться на клавикордах и петь песни вроде следующей, некогда весьма известной:

Мужчины на свете
Как мухи к нам льнут — и т. д.,

но в семидесятых годах (Ольга Ивановна родилась в 1757 году) наши деревенские красавицы не имели понятия обо всех этих усовершенствованиях. Трудно нам теперь себе представить русскую барыш-

ню того века; правда, мы можем по нашим бабушкам судить о степени образованности дворянок времен Екатерины; но как прикажете отличить то, что постепенно к ним привилось в течение их долгой жизни, от того, чем они были во дни молодости?

Ольга Ивановна несколько говорила по-французски — но с сильным русским произношением: в ее время об эмигрантах не было еще и помина. Словом, при всех ее хороших качествах, она все-таки была порядочным *дичком* — и, пожалуй, в простоте сердца своего из собственных рук не раз наказывала какую-нибудь злополучную горничную...

За несколько времени до приезда Василия Ивановича Ольгу Ивановну сговорили за соседа — Павла Афанасьевича Рогачева, добрейшего и честнейшего человека. Природа позабыла наделить его желчью. Собственные люди не слушались его, уходили иногда все, от первого до последнего, и оставляли бедного Рогачева без обеда... но ничто не могло возмутить тишину его души. Он с детских лет отличался толстотою и неповоротливостию, нигде не служил, любил ходить в церковь и петь на клиросе. Посмотрите, господа, на это доброе, круглое лицо; взгляните в эту тихую, светлую улыбку... не правда ли, вам самим становится отрадно? Отец его в кои-то веки ездил в Лучиновку и по праздникам привозил с собой Павлушу, которого маленькие Лучиновы всячески терзали. Павлуша вырос, начал сам ездить к Ивану Андреевичу, влюбился в Ольгу Ивановну и предложил ей руку и сердце — не лично ей, а ее благодетелям. Благодетели согласились. У Ольги Ивановны даже не подумали спросить: нравится ли ей Рогачев? В то время, по словам моей бабушки, «таких роскошей не водилось». Впрочем, Ольга скоро привыкла к своему жениху; нельзя было не привязаться к этому кроткому, снисходительному созданию. Воспитания Рогачев не получил никакого; по-французски умел только сказать: «бонжур» — и втайне почитал даже это слово неприличным. Да еще какой-то шутник выучил его следующей, будто бы французской песне: «Сонечка, Сонечка! Ке вуле ву де муа — я вас обожаю — ме же не пё па...». Эту песенку он всегда напевал вполголоса, когда чувствовал себя в духе. Отец его был тоже человек доброты неописанной; вечно ходил в длинном нанковом сюртуке и, что бы ему ни говорили, — на всё с улыбкой поддакивал. Со времени помолвки Павла Афанасьевича оба Рогачевы — отец и сын — хлопотали страшно; переделывали свой дом, пристроивали разные «галдареи», дружелюбно разговаривали с работниками, потчевали их водкою. К зиме не успели окончить все постройки — отложили свадьбу до лета; летом умер Иван Андреевич — отложили свадьбу до будущей весны; зимой приехал Василий Иванович. Ему представили Рогачева; он принял его холодно и небрежно и в последствии времени до того запугал его своим надменным обхождением, что бедный Рогачев трепетал как лист при одном его появлении, молчал и принужденно улыбался. Василий раз чуть-чуть не уходил его совершенно, предложил ему пари, что он, Рогачев, не в состоянии перестать улыбаться. Бедный Павел Афанасьевич едва не заплакал от замешательства, но — действительно! — улыб-

ка, глупейшая, напряженная улыбка не хотела сойти с его вспотевшего лица! А Василий медленно поигрывал концами своего шейного платка и поглядывал на него уж чересчур презрительно. Отец Павла Афанасьевича узнал также о прибытии Василия и спустя несколько дней — для «большой важности» — отправился в Лучиновку с намерением «поздравить любезного гостя с прибытием в родные палестины». Афанасий Лукич славился во всем околотке своим красноречием, то есть умением не запинаясь произнести довольно длинную и хитро сплетенную речь, с легкой примесью книжных словечек. Увы! на этот раз он не поддержал своей славы; смутился гораздо более сына своего, Павла Афанасьевича; пробормотал что-то весьма невнятное и хотя отроду не пивал водки, но тут «для контенансу»¹, выпив рюмочку (он застал Василия за завтраком), хотел было по крайней мере крикнуть с некоторою самостоятельностью, и не произвел ни малейшего звука. Уезжая домой, Павел Афанасьевич шепнул своему родителю: «Что-с, батюшка?» Афанасий Лукич с досадой ответил ему, также шепотом: «И не говори!»

Рогачевы начали реже ездить в Лучиновку. Впрочем, Василий застрашал не их одних; в братьях своих, в их женах, даже в самой Анне Павловне возбуждал он тоскливую, невольную неловкость... они стали всячески избегать его; Василий не мог этого не заметить, но, по-видимому, не имел намеренья переменить свое обращение с ними, как вдруг в начале весны он явился опять тем любезным, милым человеком, каким его прежде знали...

Первым проявлением этой внезапной перемены был неожиданный приезд Василия к Рогачевым. Афанасий Лукич в особенности порядком струсил при виде коляски Лучинова, но испуг его исчез весьма скоро. Никогда Василий не был любезнее и веселее. Он взял молодого Рогачева под руку, пошел с ним осматривать постройки, толковал с плотниками, давал им советы, делал сам нарубки топором, велел себе показать заводских лошадей Афанасья Лукича, сам гонял их на корде — и вообще своей радушной любезностью довел добрых степняков до того, что они оба неоднократно его обняли. Дома Василий тоже в несколько дней по-прежнему вскружил всем головы: затеял разные смешные игры, достал музыкантов, назвал соседей и соседок, рассказывал старушкам самым потешным образом городские сплетни, слегка волочился за молодыми, придумывал небывалые увеселения, фейерверки и т. д., словом, оживил всё и всех. Печальный, мрачный дом Лучиновых превратился вдруг в какое-то шумное, блестящее, очарованное жилище, о котором заговорил весь околоток. Эта внезапная перемена удивила многих, всех обрадовала; начали носиться разные слухи; знающие люди говорили, что Василья Ивановича до тех пор сокрушала какая-то скрытая забота, что ему представилась возможность возвратиться в столицу... но до истинной причины перерождения Василья Ивановича не добрался никто.

¹ для приличия (франц.: contenance).

Ольга Ивановна, господа, была очень недурна собой. Впрочем, ее красота состояла более в необыкновенной нежности и свежести тела, в спокойной прелести движений, чем в строгой правильности очертаний. Природа одарила ее некоторой самобытностью; ее воспитанье — она выросла сиротой — развило в ней осторожность и твердость. Ольга не принадлежала к числу тихих и вялых барышень; но одно лишь чувство в ней созрело вполне: ненависть к благодетелю. Впрочем, и другие, более женские страсти могли вспыхнуть в душе Ольги Ивановны с необычайной, болезненной силой... но в ней не было ни того гордого холода, ни той сжатой крепости души, ни той самолюбивой сосредоточенности, без которых всякая страсть исчезает весьма быстро. Первые порывы таких полудеятельных, полустрадательных душ бывают иногда необыкновенно стремительны; но они изменяют самим себе весьма скоро, особенно, когда дело дойдет до безжалостного применения принятых правил; они боятся последовательности... И между тем, господа, признаюсь вам откровенно: на меня женщины такого рода производят сильнейшее впечатление... (При этих словах рассказчик опорожнил стакан воды. «Пустяки, пустяки! — подумал я, глядя на его круглый подбородок, — на тебя, любезный друг, ничто в свете не производит «сильнейшего впечатления»...»)

Петр Федорович продолжал:

— Господа, я верю в кровь, в породу. В Ольге Ивановне было более крови, чем, например, в нареченной ее сестрице — Наталье. В чем же проявлялась эта «кровь», спросите вы меня? Да во всем: в очерках рук, губ, в звуке голоса, во взгляде, в походке, в прическе, — в складках платья наконец. Во всех этих безделках таилось что-то особенное, хотя я должен признаться, что та... как бы выразиться?... та distinction¹, которая доставалась на долю Ольге Ивановне, не привлекала бы внимания Василия, если б он встретился с нею в Петербурге. В деревне же, в глуши, она не только возбудила его вниманье, но и даже вообще была единственной причиной той перемены, о которой я говорил выше.

Судите сами: Василий Иванович любил наслаждаться жизнью; он не мог не скучать в деревне; братья его были добрые ребята, но весьма ограниченные люди: он ничего не имел с ними общего; сестра его Наталья в течение трех лет прижила с своим супругом четырех человек детей: между ней и Васильем была целая бездна... Анна Павловна ходила в церковь, молилась, постилась и готовилась к смерти. Оставалась одна Ольга, свежая, робкая, миленькая девочка... Василий ее сперва не заметил... да и кто обращает вниманье на воспитанницу, на сироту, на приемыша?... Однажды, в самом начале весны, шел он по саду и тросточкой сбивал головки цикорий, этих глупеньких желтых цветков, которые в таком множестве первые появляются на едва зеленеющих лугах. Он гулял по саду, перед домом, поднял голову — и увидел Ольгу Ивановну. Она сидела боком у окна и задумчиво гладила полосатого котенка, который, мурлыча и жмурясь, угнездился на ее коленях и с большим удовольствием подставлял свой носик весенне-

¹ тонкость обращения (франц.).

му, уже довольно яркому солнцу. На Ольге Ивановне было белое утреннее платье с короткими рукавами; ее голые, бледно-розовые, не вполне развитые плечи и руки дышали свежестью и здоровьем; небольшой чепчик осторожно сжимал ее густые, мягкие, шелковистые локоны; лицо слегка пылало: она недавно проснулась. Ее тонкая и гибкая шея так мило подавалась вперед; так пленительно небрежно, так стыдливо отдыхал ее незатянутый стан, что Василий Иванович (большой знаток!) невольно остановился и загляделся. Ему вдруг пришло в голову, что не следует оставлять Ольгу Ивановну в ее первобытном невежестве; что из нее может со временем выйти премилая и прелюбезная женщина. Он подкрался к окну, поднялся на цыпочки и на белой и гладкой руке Ольги Ивановны, немного пониже локтя, напечатлел безмолвный поцелуй. Ольга вскрикнула и вскочила, котенок поднял хвост и прыгнул в сад, Василий Иванович с улыбкой удержал ее за руку... Ольга покраснела вся до ушей; он начал шутить над ее испугом... звал ее гулять с собой; но вдруг Ольга Ивановна заметила небрежность своего наряда — и «быстрее быстрой лани» улизнула в другую комнату.

В тот же самый день Василий отправился к Рогачевым. Он вдруг повеселел и просветлел духом. Василий не полюбил Ольгу, нет! — словом «любовь» шутить не надобно... Он нашел себе занятие, поставил себе задачу и радовался радостью деятельного человека. Он и не вспомнил о том, что она — воспитанница его матери, невеста другого; он ни на один миг не обманывал себя; он очень хорошо знал, что ей не быть его женой... Может быть, его извиняла страсть — правда, не возвышенная, не благородная, но все-таки довольно сильная и мучительная страсть. Разумеется, он влюбился не как ребенок; он не предавался неопределенным восторгам; он очень знал, чего он хотел и к чему он стремился.

Василий Иванович вполне владел способностью в самое короткое время приучить к себе другого, даже предубежденного или робкого, человека. Ольга скоро перестала его дичиться. Василий Иванович ввел ее в новый мир. Он выписал для нее клавикорды, давал ей музыкальные уроки (он сам порядочно играл на флейте), читал ей книги, долго разговаривал с ней... Голова закружилась у бедной степнячки. Василий совершенно покорила ее. Он умел говорить с ней о том, что до того времени ей было чуждым, и говорить языком, ей понятным. Ольга понемногу решалась высказывать ему свои чувства; он помогал ей, подсказывал ей слова, которых она не находила, не запугивал ее; то удерживал, то поощрял ее порывы... Василий занимался ее воспитанием не из бескорыстного желания разбудить и развить ее способности; он просто хотел ее несколько к себе приблизить и знал притом, что неопытную, робкую, но самолюбивую девушку легче завлечь умом, чем сердцем. Если б Ольга была даже существом необыкновенным, Василий никак бы не мог этого заметить, потому что он обращался с ней, как с ребенком; но вы уже знаете, господа, что в Ольге особенно замечательного ничего не было. Василий старался по воз-

возможности действовать на ее воображение, и часто вечером она уходила от него с таким вихрем новых образов, слов и мыслей в голове, что не в состоянии была заснуть до зари и, тоскливо вздыхая, беспрестанно прикладывала горящие щеки к холодным подушкам или вставала, подходила к окну и пугливо и жадно глядела в темную даль. Василий наполнял каждое мгновение ее жизни, ни о ком другом она думать не могла. Рогачева она скоро даже перестала замечать. Василий, как человек ловкий и хитрый, в его присутствии не говорил с Ольгой; но либо смешил его самого до слез, либо затевал какую-нибудь шумную игру, прогулку верхом, катанье ночью по реке с факелами и музыкой — словом, не давал опомниться Павлу Афанасьевичу. Однако, несмотря на всю ловкость Василья Ивановича, Рогачев смутно почувствовал, что он, жених и будущий муж Ольги, как будто стал для нее чужим человеком... но, по бесконечной своей доброте, боялся огорчить ее упреком, хотя действительно любил ее и дорожил ее привязанностью. Наедине с ней он не знал, что заговорить, и только старался всячески прислуживаться. Прошло два месяца. В Ольге исчезла, наконец, всякая самостоятельность, всякая воля; слабый и молчаливый Рогачев не мог служить ей опорой; она даже не хотела противиться обаянию и с замирающим сердцем безусловно отдалась Василью...

Ольга Ивановна, вероятно, узнала тогда радости любви; но ненадолго. Хотя Василий — за неимением другого занятия — не только не бросил ее, но даже привязался к ней и заботливо ее лелеял, но сама Ольга до того потерялась, что даже в любви не находила блаженства, — и все-таки не могла оторваться от Василья. Она стала всего бояться, не смела думать; не разговаривала ни о чем, перестала читать; тоска ее грызла. Иногда удавалось Василью увлечь ее за собою и заставить позабыть всех и всё; но на другой же день он находил ее бледной, безмолвной, с похолодевшими руками, с бессмысленной улыбкой на губах... Настало довольно трудное время для Василия; но никакие трудности запугать его не могли. Он весь сосредоточился, как опытный игрок. Он нисколько не мог полагаться на Ольгу Ивановну; она беспрестанно себе изменяла, бледнела, краснела и плакала... ее новая роль не пришлась ей по силам. Василий работал за двух; в его буйном и шумном веселье только опытный наблюдатель мог бы заметить лихорадочную напряженность; он играл братьями, сестрами, Рогачевыми, соседями, соседками — как пешками; вечно был настороже, не терял ни одного взгляда, ни одного движенья, хотя казался беззаботнейшим человеком; каждое утро вступал в сражение и каждый вечер торжествовал победу. Он нисколько не тяготился такой страшной деятельностью; спал четыре часа в сутки, ел очень мало и был здоров, свеж и весел. Между тем день свадьбы приближался; Василий успел убедить самого Павла Афанасьевича в необходимости отсрочки; потом услав его в Москву за покупками, а сам переписывался с петербургскими приятелями. Он хлопотал не столько из сожаленья к Ольге Ивановне, сколько из охоты и любви к хлопотам и тревогам... Притом — Ольга Ивановна начала ему надоедать, и он уже не раз, после

неистового взрыва страсти, поглядывал на нее, как, бывало, на Рогачева. Лучинов всегда оставался загадкой для всех; в самой холодности его неумолимой души вы чувствовали присутствие странного, почти южного пламени; и в самом бешеном разгаре страсти от этого человека веяло холодом. При других он по-прежнему поддерживал Ольгу Ивановну; но наедине он играл с ней, как кошка с мышью, или пугал ее софизмами, или тяжело и ядовито скучал, или, наконец, опять бросался к ее ногам, увлекал ее, как вихрь щепку... и не притворялся тогда влюбленным... но действительно сам замирал...

Однажды, довольно поздно вечером, Василий сидел один у себя в комнате и внимательно перечитывал последние, полученные им из Петербурга письма — как вдруг дверь тихонько зашкрипела и вошла Палашка, горничная Ольги Ивановны.

— Что тебе надобно? — спросил ее Василий довольно сурово.

— Барышня изволит вас просить к себе.

— Теперь не могу. Ступай... Ну, что ж ты стоишь? — продолжал он, увидя, что Палашка не выходила.

— Барышня приказала сказать, что очень, дескать, нужно-с.

— Да что там такое?

— Сами изволите увидеть-с...

Василий встал, с досадой бросил письма в ящик и отправился к Ольге Ивановне. Она сидела одна, в углу — бледная и неподвижная.

— Что вам угодно? — спросил он ее не совсем приветно.

Ольга посмотрела на него и, содрогаясь, закрыла глаза.

— Что с вами? что с тобой, Ольга?

Он взял ее за руку... Рука Ольги Ивановны была холодна как лед... Она хотела заговорить... и голос ее замер. Бедной женщине не оставалось никакого сомнения насчет своего положения.

Василий несколько смутился. Комната Ольги Ивановны находилась в двух шагах от спальни Анны Павловны. Василий осторожно подсел к Ольге, целовал и грел ее руки, шёпотом ее уговаривал. Она слушала его и молча слегка вздрагивала. В дверях стояла Палашка и тихонько утирала слезы. В соседней комнате тяжело и мерно стучал маятник и слышалось дыхание спящего. Оцепенение Ольги Ивановны разрешилось, наконец, слезами и глухими рыданиями. Слезы — что гроза: после них человек всегда тише. Когда Ольга Ивановна успокоилась несколько и лишь изредка судорожно всхлипывала, как ребенок, Василий стал перед ней на колени и ласками, нежными обещаниями успокоил ее совершенно, дал ей напиться, уложил ее и ушел. Всю ночь он не раздевался, написал два-три письма, сжег две-три бумаги, достал золотой медальон с портретом женщины чернойбровой и черноглазой, с лицом сладострастным и смелым, долго рассматривал ее черты и в раздумье ходил по комнате. На другое утро, за чаем, он с необыкновенным неудовольствием увидел покрасневшие, распухшие глаза и бледное, встревоженное лицо бедной Ольги. После завтрака предложил им ей прогуляться с ним по саду. Ольга пошла за Васильем, как послушная овечка. Когда же, часа через два, она вернулась из сада — на ней лица не было; она

сказала Анне Павловне, что ей нездоровится, и слегла в постель. Во время прогулки Василий, с достождным раскаянием, объявил ей, что он тайно обвенчан, — он был такой же холостяк, как я. Ольга Ивановна не упала в обморок — падают в обморок только на сцене; но вдруг окаменела, хотя сама не только не надеялась выйти за Василия Ивановича, но даже как-то боялась об этом думать. Василий начал ей доказывать необходимость разлуки с ним и бракосочетания с Рогачевым. Ольга Ивановна глядела на него с немим ужасом. Василий говорил холодно, дельно, основательно; винил себя, каялся — но кончил все свои рассуждения следующими словами: «Прошедшего не вернешь; надобно действовать». Ольга потерялась совершенно; ей было страшно, стыдно; унылое, тяжкое отчаяние овладело ею; она желала смерти — и с тоской ожидала решения Василия.

— Надобно во всем сознаться матушке, — сказал он ей наконец.

Ольга помертвела; ноги у ней подкосились.

— Не бойся, не бойся, — твердил Василий, — положишься на меня, я тебя не оставлю... я всё улажу... надейся на меня.

Бедная женщина посмотрела на него с любовью... да, с любовью и глубокой, хотя уже безнадежной преданностью.

— Я всё, всё устрою, — сказал ей на прощанье Василий... и в последний раз поцеловал ее похолодевшие руки...

На другое же утро Ольга Ивановна только что встала с постели — дверь ее растворилась... и Анна Павловна появилась на пороге. Ее поддерживал Василий. Молча добралась она до кресел и села молча. Василий стал возле нее. Он казался спокойным; брови его сдвинулись и губы слегка раскрылись. Анна Павловна, бледная, негодующая, разгневанная, собиралась говорить — но голос изменял ей. Ольга Ивановна с ужасом окинула взором свою благодетельницу, своего любовника: страшно замерло в ней сердце... она с криком упала посреди комнаты на колени и закрыла себе лицо руками... «Так правда... правда? — прошептала Анна Павловна и наклонилась к ней... — Отвечайте же!» — продолжала она, с жестокостью схватив Ольгу за руку.

— Матушка! — раздался медный голос Василия. — Вы обещали мне не оскорблять ее.

— Я хочу... признавайся же... признавайся... правда ли? правда?

— Матушка... вспомните... — проговорил медленно Василий.

Это одно слово сильно потрясло Анну Павловну. Она прислонилась к спинке кресел и зарыдала.

Ольга Ивановна тихонько подняла голову и хотела было броситься к ногам старухи, но Василий удержал ее, поднял и посадил на другие кресла. Анна Павловна продолжала плакать и шептать несвязные слова...

— Послушайте, матушка, — заговорил Василий, — не убивайте себя! Беде помочь еще можно... Если Рогачев...

Ольга Ивановна вздрогнула и выпрямилась.

— Если Рогачев, — продолжал Василий, значительно взглянув на Ольгу Ивановну, — вообразил, что может безнаказанно опозорить честное семейство...

Ольге Ивановне стало страшно.

— В моем доме, — простонала Анна Павловна.

— Успокойтесь, матушка. Он воспользовался ее неопытностью, ее молодостью, он... Вы что-то хотите сказать? — прибавил он, увидя, что Ольга порывается к нему...

Ольга Ивановна упала в кресла.

— Я сейчас еду к Рогачеву. Я заставлю его жениться сегодня же. Будьте уверены, я не позволю ему насмеяться над нами...

— Но... Василий Иванович... вы... — прошептала Ольга.

Он долго и холодно посмотрел на нее. Она замолчала снова.

— Матушка, дайте мне слово не беспокоить ее до моего приезда. Посмотрите — она едва жива. Да и вам надобно отдохнуть. Надейтесь на меня; я отвечаю за всё; во всяком случае подождите моего возвращения. Повторяю вам — не убивайте ни ее, ни себя — и положитесь на меня.

Он приблизился к дверям и остановился.

— Матушка, — сказал он, — пойдите со мной, оставьте ее одну, прошу вас.

Анна Павловна встала, подошла к иконе, положила земной поклон и тихо последовала за сыном. Ольга Ивановна молча и неподвижно проводила ее глазами. Василий проворно вернулся, схватил ее за руку, шепнул ей на ухо: «Надейтесь на меня и не выдайте нас, — и тотчас удалился... — Бурсье, — закричал он, спускаясь быстро вниз по лестнице, — Бурсье!..»

Через четверть часа он уже сидел в коляске с своим слугой.

В этот день старика Рогачева не было дома. Он поехал в уездный город закупать мухояру на кафтаны своим челядинцам. Павел Афанасьевич сидел у себя в кабинете и рассматривал коллекцию полинявших бабочек. Приподняв брови и вытянув губы, он осторожно переворачивал булавкой хрупкие крылышки «ночного сфинкса», как вдруг почувствовал у себя на плече небольшую, но тяжелую руку. Он оглянулся — перед ним стоял Василий.

— Здравствуйте, Василий Иванович, — проговорил он не без некоторого изумления.

Василий посмотрел на него и сел перед ним на стул.

Павел Афанасьевич улыбнулся было... да взглянул на Василья, опустился, раскрыл рот и сложил руки.

— А скажите-ка, Павел Афанасьевич, — заговорил вдруг Василий, — скоро ли вы намерены сыграть свадьбу?

— Я?... скоро... конечно... я, с моей стороны... впрочем, как вы и ваша сестрица... я, с моей стороны, готов хоть завтра.

— Прекрасно, прекрасно. Вы человек весьма нетерпеливый, Павел Афанасьевич.

— Как это-с?

— Слушайте, — прибавил Василий Иванович, вставая, — я всё знаю; вы меня понимаете, и я вам приказываю, без отлагательства, завтра же жениться на Ольге.

— Позвольте, позвольте, однако ж, — возразил Рогачев, не поднимаясь с места, — вы мне приказываете? Я сам искал руки Ольги Ива-

новны, и мне нечего приказывать... Признаюсь, Василий Иванович, я вас что-то не понимаю.

— Не понимаешь?

— Нет, право, не понимаю-с.

— Даешь ты мне слово жениться на ней завтра же?

— Да помилуйте, Василий Иванович... не сами ли вы неоднократно откладывали нашу свадьбу? Без вас она бы уже давно состоялась. И теперь я и не думаю отказываться. Что же значат ваши угрозы, ваши настоятельные требования?

Павел Афанасьевич отер пот с лица.

— Даешь ли ты мне слово? говори: да или нет? — повторил с растановкой Василий.

— Извольте... даю-с, но...

— Хорошо. Помни же... А она во всем призналась.

— Кто призналась?

— Ольга Ивановна.

— Да в чем призналась?

— Да что вы передо мной-то притворяетесь, Павел Афанасьевич? Я ведь вам не чужой.

— В чем я притворяюсь? Я вас не понимаю, не понимаю, решительно не понимаю. В чем могла Ольга Ивановна признаться?

— В чем? Вы мне надоели! Известно в чем.

— Убей меня бог...

— Нет, я тебя убью — если ты на ней не женишься... понимаешь?

— Как!.. — Павел Афанасьевич вскочил и остановился перед Васильем. — Ольга Ивановна... вы говорите...

— Ловок, братец, ты, ловок, признаюсь, — Василий с улыбкой потрепал его по плечу, — даром что на вид смирен...

— Боже мой, боже!.. Вы меня с ума сводите... Что вы хотите сказать, объяснитесь, ради бога!

Василий нагнулся к нему и шепнул ему что-то на ухо.

Рогачев вскрикнул:

— Как?.. я?

Василий топнул ногой.

— Ольга Ивановна? Ольга?..

— Да... ваша невеста...

— Моя невеста... Василий Иванович... она... она... Да я же ее и знать не хочу! — закричал Павел Афанасьевич. — Бог с ней совсем! За кого вы меня принимаете? Обмануть меня — меня обмануть... Ольга Ивановна, негрешно вам, не совестно вам... (Слезы брызнули у него из глаз.) Спасибо вам, Василий Иванович, спасибо... А я ее и знать теперь не хочу! не хочу! не хочу! и не говорите... Ах, мои батюшки — вот до чего я дожил! Хорошо же, хорошо!

— Полно вам ребячиться, — заметил хладнокровно Василий Иванович. — Помните, вы мне дали слово: завтра свадьба.

— Нет, этому не бывать! Полноте, Василий Иванович, опять-таки скажу вам — за кого вы меня принимаете? Много чести: покорно благодарим-с. Извините-с.

— Как угодно! — возразил Василий. — Доставайте шпагу.

— Как шпагу... зачем шпагу?

— Зачем? А вот зачем.

Василий вынул свою французскую тонкую, гибкую шпагу и слегка согнул ее об пол.

— Вы хотите... со мной... драться?..

— Именно.

— Но, Василий Иванович, помилуйте, войдите в мое положение. Как же я могу, посудите сами, после того, что вы мне сказали... Я честный человек, Василий Иванович, я дворянин.

— Вы дворянин, вы честный человек — так извольте же со мной драться.

— Василий Иванович!

— Вы, кажется, робеете, господин Рогачев?

— Я вовсе не робею, Василий Иванович. Вы думали запугать меня, Василий Иванович. Вот, дескать, я его пугну, он и струсит, он на всё тотчас и согласится... Нет, Василий Иванович, я такой же дворянин, как и вы, хотя воспитания столичного не получил действительно, и запугать вам меня не удастся, извините.

— Очень хорошо, — возразил Василий, — где же ваша шпага?

— Ерошка! — закричал Павел Афанасьевич. Вошел человек.

— Достань мне шпагу — там, ты знаешь, на чердаке... поскорей...

Ерошка вышел. Павел Афанасьевич вдруг чрезвычайно побледнел, торопливо снял шлафрок, надел кафтан рыжего цвета с стразовыми большими пуговицами... намотал на шею галстух... Василий глядел на него и перебирал пальцами правой руки.

— Так что ж? драться нам, Павел Афанасьевич?

— Драться так драться, — возразил Рогачев и торопливо застегнул камзол.

— Эй, Павел Афанасьевич, послушайте моего совета: женись... что тебе... А я, поверь мне...

— Нет, Василий Иванович, — перебил его Рогачев. — Вы меня, я знаю, либо убьете, либо изувечите; но чести своей я терять не намерен, умирать так умирать.

Ерошка вошел и трепетно подал Рогачеву старенькую шпажонку в кожаных, истресканных ножнах. В то время все дворяне носили шпаги при пудре; но степные помещики пудрились раза два в год. Ерошка отошел к дверям и заплакал. Павел Афанасьевич вытолкал его вон из комнаты.

— Однако, Василий Иванович, — заметил он с некоторым смущением, — я не могу сейчас с вами драться: позвольте отложить нашу дуэль до завтра; батюшки нет дома; да и дела мои, на всякий случай, не худо привести в порядок.

— Вы, я вижу, опять начинаете робеть, милостивый государь.

— Нет, нет, Василий Иванович; но посудите сами...

— Послушайте, — закричал Лучинов, — вы меня выводите из терпенья... Или дайте мне слово тотчас жениться, или деритесь... или я вас прибью палкой, как труса, понимаете?

— Пойдемте в сад, — отвечал сквозь зубы Рогачев.

Но вдруг дверь растворилась, и старая няня Ефимовна, вся растрепанная, ворвалась в комнату, упала перед Рогачевым на колени, схватила его за ноги...

— Батюшка ты мой! — завопила она, — дитяtko ты мое... что ты такое затеял? Не погуби нас, горемычных, батюшка! Ведь он тебя убьет, голубчик ты мой! Да прикажи нам только, прикажи, мы его, озорника этакoго, шапками закидаем... Павел Афанасьевич, дитяtko ты мое, побойся Бога!

В дверях показалось множество бледных и встревоженных лиц... показалась даже рыжая борода старосты.

— Пусти меня, Ефимовна, пусти! — пробормотал Рогачев.

— Не пушу, родимый, не пушу. Что ты это, батюшка, что ты? Да что скажет Афанасий-то Лукич-то? Да он нас всех с бела света согнит... А вы что стоите? Возьмите-ка незванoго гостя под ручки да и выпроводите его вон из дому, чтобы духа его не было...

— Рогачев! — грозно вскрикнул Василий Иванович.

— Ты с ума сошла, Ефимовна, ты меня позоришь, помилуй... — проговорил Павел Афанасьевич. — Ступай, ступай себе с богом, и вы пошли вон, слышите?..

Василий Иванович быстро подошел к растворенному окошку, достал небольшой серебряный свисток — слегка свистнул... Бурсье отозвался невдалеке. Лучинов тотчас обратился к Павлу Афанасьевичу:

— Чем же эта комедия кончится?

— Василий Иванович, я приеду к вам завтра — что мне делать с этой сумасшедшей бабой...

— Э! да я вижу, с вами нечего долго толковать, — сказал Василий и поднял было трость...

Павел Афанасьевич рванулся, оттолкнул Ефимовну, схватил шпагу и бросился через другие двери в сад.

Василий ринулся вслед за ним. Они вбежали оба в деревянную беседку, хитро раскрашенную на китайский манер, заперлись и обнажили шпаги. Рогачев когда-то брал уроки в фехтовании, но теперь едва сумел выпасть как следует. Лезвия скрестились. Василий видимо играл шпагой Рогачева. Павел Афанасьевич задыхался, бледнел и с смятенным взглядом в лицо Лучинову. Между тем в саду раздавались крики; толпа народа бежала к беседке. Вдруг Рогачев услышался раздирающий старческий вопль... он узнал голос отца. Афанасий Лукич, без шапки, с растрепанными волосами, бежал впереди всех, отчаянно маяхая руками...

Сильным и неожиданным поворотом клинка вышиб Василий шпагу из руки Павла Афанасьевича.

— Женись, брат, — сказал он ему, — полно тебе дурачиться.

— Не женюсь, — прошептал Рогачев, закрыл глаза и весь затрясся.

Афанасий Лукич начал ломиться в дверь беседки.

— Не хочешь? — закричал Василий.

Рогачев покачал отрицательно головой.

— Ну, так чёрт же с тобой!

Бедный Павел Афанасьевич упал мертвый: шпага Лучинова воткнулась ему в сердце... Дверь затрещала, старик Рогачев ворвался в бешедку, но Василий уже успел выскочить в окно...

Два часа спустя вошел он в комнату Ольги Ивановны... Она с ужасом бросилась к нему навстречу... Он молча поклонился ей, вынул шпагу и проколол, на месте сердца, портрет Павла Афанасьевича. Ольга вскрикнула и в беспомощности упала на пол... Василий отправился к Анне Павловне. Он застал ее в образной. «Матушка, — проговорил он, — мы отомщены». — Бедная старуха вздрогнула и продолжала молиться.

Через неделю Василий уехал в Петербург — и через два года вернулся в деревню, разбитый параличом, без языка. Он уже не застал в живых ни Анны Павловны, ни Ольги — и умер скоро сам на руках у Юдича, который кормил его, как ребенка, и один умел понимать его несвязный лепет.

ЖИД

...Расскажите-ка вы нам что-нибудь, полковник, — сказали мы наконец Николаю Ильичу.

Полковник улыбнулся, пропустил струю табачного дыма сквозь усы, провел рукою по седым волосам, посмотрел на нас и задумался. Мы все чрезвычайно любили и уважали Николая Ильича за его доброту, здравый смысл и снисходительность к нашей братье молодежи. Он был высокого роста, плечист и дороден; его смуглое лицо, «одно из славных русских лиц»¹, прямодушный, умный взгляд, кроткая улыбка, мужественный и звучный голос — всё в нем нравилось и привлекало.

— Ну, слушайте ж, — начал он. — Дело было в тринадцатом году, под Данцигом. Я служил тогда в Е — м кирасирском полку и, помнится, только что был произведен в корнеты. Веселое занятие — сражения, и походы — хорошая вещь, но в осадном корпусе очень скучно было. Сидишь себе, бывало, целый божий день в каком-нибудь ложементе, под палаткой, на грязи или соломе, да играешь в карты с утра до вечера. Разве от скуки пойдешь посмотреть, как летают бомбы или каленые ядра. Сначала французы нас тешили вылазками, да скоро притихли. Ездить на фуражировку тоже надоело; словом, тоска напала на нас такая, что хоть вой. Мне всего тогда пошел девятнадцатый год; малый был я здоровый, кровь с молоком, думал потешиться и насчет француза и насчет того... ну, понимаете... а вышло-то вот что. От нечего делать пустился я играть. Как-то раз, после страшного проигрыша, мне повезло, и к утру (мы играли ночью) я был в сильном выигрыше. Измученный, сонный, вышел я на свежий воздух и присел на гласис. Утро было прекрасное, тихое; длинные линии наших укреплений

¹ Лермонтов в «Казначейше».

терялись в тумане; я загляделся, а потом и задремал сидя. Осторожный кашель разбудил меня; я открыл глаза и увидел перед собою жида лет сорока, в долгополом сером кафтане, башмаках и черной ермолке. Этот жид, по прозвищу Гиршель, то и дело таскался в наш лагерь, напрашивался в факторы, доставал нам вина, съестных припасов и прочих безделок; росту был он небольшого, худенький, рябой, рыжий, — беспрестанно моргал крошечными, тоже рыжими глазками, нос имел кривой и длинный и всё покашливал. Он начал вертеться передо мной и униженно кланяться.

— Ну, что тебе надобно? — спросил я его, наконец.

— А так-с, пришел узнать-с, что не могу ли их благородию чем-нибудь-с...

— Не нужен ты мне; ступай.

— Как прикажете-с, как угодно-с... Я думал, что, может быть-с, чем-нибудь-с...

— Ты мне надоел; ступай, говорят тебе.

— Извольте, извольте-с. А позвольте их благородие поздравить с выигрышем...

— А ты почему знаешь?

— Уж как мне не знать-с... Большой выигрыш... большой...! У! какой большой...

Гиршель растопырил пальцы и покачал головой.

— Да что толку, — сказал я с досадой, — на какой дьявол здесь и деньги?

— О! не говорите, ваше благородие; ай, ай, не говорите такое. Деньги — хорошая вещь; всегда нужны, всё можно за деньги достать, ваше благородие, всё! всё! Прикажите только фактору, он вам всё достанет, ваше благородие, всё! всё!

— Полно врать, жид.

— Ай! ай! — повторил Гиршель, встряхивая пейсиками. — Их благородие мне не верит... ай... ай... ай... — Жид закрыл глаза и медленно покачал головою на право и налево... — А я знаю, что господину офицеру угодно... знаю... уж я знаю!

Жид принял весьма плутовской вид...

— В самом деле?

Жид взглянул боязливо, потом нагнулся ко мне.

— Такая красавица, ваше благородие, такая!.. — Гиршель опять закрыл глаза и вытянул губы. — Ваше благородие, прикажите... увидите сами... что теперь я буду говорить, вы будете слушать... вы не будете верить... а лучше прикажите показать... вот как, вот что! Я молчал и глядел на жида.

— Ну, так хорошо; ну, вот хорошо; ну, вот я вам покажу... — Тут Гиршель засмеялся и слегка потрепал меня по плечу, но тотчас же отскочил, как обожженный.

— А что ж, ваше благородие, задаточек?

— Да ты обманешь меня или покажешь мне какое-нибудь чучело.

— Ай, вай, что вы такое говорите? — проговорил жид с необыкновенным жаром и размахивая руками. — Как можно? Да вы... ваше бла-

городие, прикажите тогда дать мне пятьсот... четыреста пятьдесят палок, — прибавил он поспешно... — Да вы прикажите...

В это время один из моих товарищей приподнял край палатки и назвал меня по имени. Я поспешно встал и бросил жиду червонец.

— Вечером, вечером, — пробормотал он мне вслед.

Признаюсь вам, господа, я дождался вечера с некоторым нетерпением. В этот самый день французы сделали вылазку; наш полк ходил в атаку. Наступил вечер; мы все уселись вокруг огня... солдаты заварили кашу. Пошли толки. Я лежал на бурке, пил чай и слушал рассказы товарищей. Мне предложили играть в карты, — я отказался. Я был в волнении. Понемногу офицеры разошлись по палаткам; огни стали гаснуть; солдаты также разбрелись или заснули тут же; всё затихло. Я не вставал. Денщик мой сидел на корточках перед огнем и, как говорится, «удил рыбу». Я прогнал его. Скоро весь лагерь утих. Прошла рунда. Сменили часовых. Я всё лежал и ждал чего-то. Звезды выступили. Настала ночь. Долго глядел я на замиравшее пламя... последний огонек потух наконец. «Обманул меня проклятый жид», — подумал я с досадой и хотел было приподняться...

— Ваше благородие... — пролепетал над самым моим ухом трепетный голос.

Я оглянулся: Гиршель. Он был очень бледен, заикался и пришепётывал.

— Пожалуйте-с в вашу палатку-с.

Я встал и пошел за ним. Жид весь съезжился и осторожно выступал по короткой сырой траве. Я заметил в стороне неподвижную, закутанную фигуру. Жид махнул ей рукой — она подошла к нему. Он с ней пошептался, обратился ко мне, несколько раз кивнул головой, и мы все трое вошли в палатку. Смешно сказать: я задыхался.

— Вот, ваше благородие, — прошептал с усилием жид, — вот. Она немножко боится теперь, она боится; но я ей сказал, что господин офицер хороший человек, прекрасный... А ты не бойся, не бойся, — продолжал он, — не бойся...

Закутанная фигура не шевелилась. Я сам был в страшном смущении и не знал, что сказать. Гиршель тоже семенил на месте, как-то странно разводил руками...

— Однако, — сказал я ему, — выдь-ка ты вон...

Гиршель как будто нехотя повиновался.

Я подошел к закутанной фигуре и тихо снял с ее головы темный капюшон. В Данциге горело: при красноватом, порывистом и слабом отблеске далекого пожара увидел я бледное лицо молодой жидовки. Ее красота меня поразила. Я стоял перед ней и смотрел на нее молча. Она не поднимала глаз. Легкий шорох заставил меня оглянуться. Гиршель осторожно высовывал голову из-под края палатки. Я с досадой махнул ему рукой... он скрылся.

— Как тебя зовут? — промолвил я наконец.

— Сара, — отвечала она, и в одно мгновение сверкнули во мраке белки ее больших и длинных глаз и маленькие, ровные, блестящие зубки.

Я схватил две кожаные подушки, бросил их на землю и попросил ее сесть. Она скинула свой плащ и села. На ней был короткий, спереди раскрытый казакин с серебряными круглыми резными пуговицами и широкими рукавами. Густая черная коса два раза обвивала ее небольшую голову; я сел подле нее и взял ее смуглую, тонкую руку. Она немного противилась, но как будто боялась глядеть на меня и неровно дышала. Я любовался ее восточным профилем — и робко пожимал ее дрожащие, холодные пальцы.

— Ты умеешь по-русски?

— Умею... немного.

— И любишь русских?

— Да, люблю.

— Стало быть, ты меня тоже любишь?

— И вас люблю.

Я хотел было обнять ее, но она проворно отодвинулась.

— Нет, нет, пожалуйста, господин, пожалуйста.

— Ну, так посмотри на меня по крайней мере.

Она остановила на мне свои черные, пронзительные глаза и тотчас же с улыбкой отвернулась и покраснела.

Я с жаром поцеловал ее руку. Она посмотрела на меня исподлобья и тихонько засмеялась.

— Чему ты?

Она закрыла лицо рукавом и засмеялась пуше прежнего.

Гиршель появился у входа палатки и погрозил ей. Она замолчала.

— Пошел вон! — прошептал я ему сквозь зубы. — Ты мне надоел.

Гиршель не выходил.

Я достал из чемодана горсть червонцев, сунул их ему в руку и вытолкнул его вон.

— Господин, дай и мне... — проговорила она.

Я ей кинул несколько червонцев на колени; она подхватила их проворно, как кошка.

— Ну, теперь я тебя поцелую.

— Нет, пожалуйста, пожалуйста, — пролепетала она испуганным и умоляющим голосом.

— Чего ж ты боишься?

— Боюсь.

— Да полно...

— Нет, пожалуйста.

Она робко посмотрела на меня, нагнула голову немножко набок и сложила руки. Я оставил ее в покое.

— Если хочешь... вот, — сказала она после некоторого молчания и поднесла свою руку к моим губам.

Я не совсем охотно поцеловал ее. Сара опять рассмеялась.

Кровь меня душила. Я досадовал на себя и не знал, что делать. Однако, подумал я наконец, что я за дурак?

Я опять оборотился к ней.

— Сара, послушай, я влюблен в тебя.

— Я знаю.

— Знаешь? И не сердисься? И сама меня любишь?

Сара покачала головой.

— Нет, отвечай мне как следует.

— А покажите-ка себя, — сказала она.

Я нагнулся к ней. Сара положила руки ко мне на плечи, начала разглядывать мое лицо, хмурилась, улыбалась... Я не выдержал и проворно поцеловал ее в щеку. Она вскочила и в один прыжок очутилась у входа палатки.

— Ну, какая же ты дикарка!

Она молчала и не трогалась с места.

— Подойди же ко мне...

— Нет, господин, прощайте. До другого разу.

Гиршель опять выставил свою курчавую головку,

сказал ей два слова; она нагнулась и ускользнула, как змея.

Я выбежал из палатки вслед за нею, но не увидел ни ее, ни Гиршеля.

Целую ночь я не мог заснуть.

На другое утро мы сидели в палатке нашего ротмистра; я играл, но без охоты. Вошел мой денщик.

— Спрашивают вас, ваше благородие.

— Кто меня спрашивает?

— Жид спрашивает.

«Неужели Гиршель!» — подумал я. Я дождался конца талии, встал и вышел. Действительно, я увидел Гиршеля.

— Что, — спросил он меня с приятной улыбкой, — ваше благородие, довольны вы?

— Ах ты!.. (Тут полковник оглянулся.) Кажется, нет дам... Впрочем, всё равно. Ах ты, мой любезный, — отвечал я ему, — да ты смеешься надо мной, что ли?

— А что-с?

— Как что-с? Еще ты спрашиваешь?

— Ай, ай, господин офицер, какой же вы, — проговорил Гиршель с укоризной, но не переставая улыбаться. — Девица молодая, скромная... Вы ее испугали, право испугали.

— Хороша скромность! а деньги-то она зачем взяла?

— А как же-с? Деньги дают-с, так как же не брать-с?

— Послушай, Гиршель, пусть она придет опять, я тебя не обижу... Только ты, пожалуйста, своей глупой рожой не показывай у меня в палатке и оставь нас в покое; слышишь?

У Гиршеля засверкали глазки.

— А что? нравится вам?

— Ну, да.

— Красавица! такой нет красавицы нигде. А денег мне теперь покажете?

— Возьми, только слушай: уговор лучше денег. Приведи ее да убирайся к чёрту. Я ее сам провожу домой.

— А нельзя, нельзя, никак нельзя-с, — торопливо возразил жид. — Ай, ай, никак нельзя-с. Я, пожалуй, буду ходить около палатки, ваше благородие; я, я, ваше благородие, отойду, пожалуй, немножко... я,

ваше благородие, готов вам служить, я, пожалуй, отойду... что ж? я отойду.

— Ну, смотри же... Да приведи ее, слышишь?

— А ведь красавица? господин офицер, а? ваше благородие? красавица? а?

Гиршель нагибался и заглядывал мне в глаза.

— Хороша.

— Ну, так дайте же мне еще червончик...

Я бросил ему червонец; мы разошлись.

День минул наконец. Настала ночь. Я долго сидел один в своей палатке. На дворе было неясно. В городе пробило два часа. Я начинал уже ругать жида... Вдруг вошла Сара, одна. Я вскочил, обнял ее... прикоснулся губами до ее лица... Оно было холодно как лед. Я едва мог различить ее черты... Я усадил ее, стал перед ней на колени, брал ее руки, касался ее стана... Она молчала, не шевелилась и вдруг громко, судорожно зарыдала. Я напрасно старался успокоить, угворить ее... Она плакала навзрыд... Я ласкал ее, утирал ее слезы; она по-прежнему не противилась, не отвечала на мои расспросы и плакала, — плакала в три ручья. Сердце во мне перевернулось; я встал и вышел из палатки.

Гиршель точно из земли передо мною вынырнул.

— Гиршель, — сказал я ему, — вот тебе обещанные деньги. Уведи Сару.

Жид тотчас бросился к ней. Она перестала плакать и ухватилась за него.

— Прощай, Сара, — сказал я ей. — Бог с тобой, прощай. Когда-нибудь увидимся, в другое время.

Гиршель молчал и кланялся. Сара нагнулась, взяла мою руку, прижала ее к губам; я отвернулся...

Дней пять или шесть, господа, я всё думал о моей жидовке. Гиршель не являлся, и никто не видал его в лагере. По ночам спал я довольно плохо: мне всё мерещились черные влажные глаза, длинные ресницы; мои губы не могли забыть прикосновенья щеки, гладкой и свежей, как кожица сливы. Послали меня со взводом на фуражировку в отдаленную деревеньку. Пока мои солдаты шарили по домам, я остался на улице и не слезал с коня. Вдруг кто-то схватил меня за ногу...

— Боже мой, Сара!

Она была бледна и взволнована.

— Господин офицер, господин... помогите, спасите: солдаты нас обижают... Господин офицер...

Она узнала меня и вспыхнула.

— А разве ты здесь живешь?

— Здесь.

— Где?

Сара указала мне на маленький, старенький домик. Я дал лошади шпоры и поскакал. На дворе домика безобразная, растрепанная жидовка старалась вырвать из рук моего длинного вахмистра Силявки три курицы и утку. Он поднимал свою добычу выше головы и смеялся; курицы кудахтали, утка кричала... Другие два кирасира вьючили ло-

шадей своих сеном, соломой, мучными кулями. В самом доме слышались малороссийские восклицания и ругательства... Я крикнул на своих и приказал им оставить жидов в покое, ничего не брать у них. Солдаты повиновались; вахмистр сел на свою гнедую кобылу Прозерпина, или, как он называл ее, «Прожерпылу», и выехал за мной на улицу.

— Ну что, — сказал я Саре, — довольна ты мной?

Она с улыбкой посмотрела на меня.

— Где ты пропадала всё это время?

Она опустила глаза.

— Я к вам завтра приду.

— Вечером?

— Нет, господин, утром.

— Смотри же, не обмани меня.

— Нет... нет, не обману.

Я жадно глядел на нее. Днем она показалась мне еще прекраснее. Я помню, меня в особенности поразили янтарный, матовый цвет ее лица и синеватый отлив ее черных волос... Я нагнулся с лошади и крепко стиснул ее маленькую руку.

— Прощай, Сара... смотри, приходи же.

— Приду.

Она пошла домой; я приказал вахмистру догнать меня с командой — и поскакал.

На другой день я встал очень рано, оделся и вышел из палатки. Утро было чудесное; солнце только что подымалось, и на каждой былинке сверкал влажный багрянец. Я взошел на высокий бруствер и сел на краю амбразуры. Подо мной толстая чугунная пушка выставила в поле свое черное жерло. Я рассеянно смотрел во все стороны... и вдруг увидел шагах во ста скорченную фигуру в сером кафтане. Я узнал Гиршеля. Он долго стоял неподвижно на одном месте, потом вдруг отбежал немного в сторону, торопливо и боязливо оглянулся... крикнул, присел, осторожно вытянул шею и опять начал оглядываться и прислушиваться. Я очень ясно видел все его движенья. Он запустил руку за пазуху, достал клочок бумажки, карандаш и начал писать или чертить что-то. Гиршель беспрестанно останавливался, вздрагивал, как заяц, внимательно рассматривал окрестность и как будто срисовывал наш лагерь. Он не раз прятал свою бумажку, щурил глаза, нюхал воздух и снова принимался за работу. Наконец, жид присел на траву, снял башмак, запихал туда бумажку; но не успел он еще выпрямиться, как вдруг, шагах в десяти от него, из-за ската гласиса показалась усатая голова вахмистра Силявки и понемногу приподнялось от земли всё длинное и неуклюжее его тело. Жид стоял к нему спиной. Силявка проворно подошел к нему и положил ему на плечо свою тяжелую лапу. Гиршеля скорчило. Он затрясся, как лист, и испустил болезненный, заячий крик. Силявка грозно заговорил с ним и схватил его за ворот. Я не мог слышать их разговора, но, по отчаянным телодвижениям жиды, по его умоляющему виду начал догадываться, в чем дело. Жид раза два бросался к ногам вахмистра, запустил руку в карман, вытащил разорванный клетчатый платок, развязал узел, достал черво-

нец... Силявка с важностью принял подарок, но не переставал тащить жида за ворот. Гиршель рванулся и бросился в сторону; вахмистр пустился за ним в погоню. Жид бежал чрезвычайно проворно; его ноги, обутые в синие чулки, мелькали действительно весьма быстро; но Силявка после двух или трех «угонок» поймал присевшего жида, поднял и понес его на руках — прямо в лагерь. Я встал и пошел к нему навстречу.

— А! ваше благородие! — закричал Силявка, — лазутчика несущим, лазутчика!.. — Пот градом катился с дюжего малоросса. — Да перестань же вертеться, чёртов жид! да ну же... экой ты! Не то придавлю, смотри!

Несчастный Гиршель слабо упирался локтями в грудь Силявки, слабо болтал ногами... Глаза его судорожно закатывались...

— Что такое? — спросил я Силявку.

— А вот что, ваше благородие: извольте-ка снять с его правой ноги башмак, — мне неловко. — Он всё еще держал жида на руках.

Я снял башмак, достал тщательно сложенную бумажку, развернул ее и увидел подробный рисунок нашего лагеря. На полях стояло множество записок, писанных мелким почерком на ивритском языке.

Между тем Силявка поставил Гиршеля на ноги. Жид раскрыл глаза, увидел меня и бросился передо мной на колени.

Я молча показал ему бумажку.

— Это что?

— Это — так, господин офицер. Это я так. Так... — Голос его перерывался.

— Ты лазутчик?

Он не понимал меня, бормотал несвязные слова, трепетно прикасался моих колен... — Ты шпион?

— Ай! — крикнул он слабо и потряс головой. — Как можно? Я — никогда; я совсем нет. Не можно; не есть возможно. Я готов. Я — сейчас. Я дам денег... я заплачу, — прошептал он и закрыл глаза.

Ермолка сдвинулась у него на затылок; рыжие, мокрые от холодного пота волосы повисли клочьями, губы посинели и судорожно изогнулись, брови болезненно сжались, щеки ввалились...

Солдаты нас обступили. Я сперва хотел было пугнуть порядком Гиршеля да приказать Силявке молчать, но теперь дело стало гласно и не могло миновать «сведения начальства».

— Веди его к генералу, — сказал я вахмистру.

— Господин офицер, ваше благородие! — закричал отчаянным голосом жид, — я не виноват; не виноват... Прикажете выпустить меня, прикажете...

— А вот его превосходительство разберет, — проговорил Силявка. — Пойдем.

— Ваше благородие! — закричал мне жид вслед, — прикажите! помирите!

Крик его терзал меня. Я удвоил шаги.

Генерал наш был человек немецкого происхождения, честный и добрый, но строгий исполнитель правил службы. Я вошел в неболь-

шой, наскоро выстроенный его домик и в немногих словах объяснил ему причину моего посещения. Я знал всю строгость военных постановлений и потому не произнес даже слова «лазутчик», а постарался представить всё дело ничтожным и не стоящим внимания. Но, к несчастью Гиршеля, генерал исполнение долга ставил выше сострадания.

— Вы, молодой человек, — сказал он мне, — суть неопытный. Вы в воинском деле еще неопытны суть. Дело, о котором (генерал весьма любил слово: который) вы мне рапортовали, есть важное, весьма важное... А где же этот человек, который взят был? тот еврей? Где же тот?

Я вышел из палатки и приказал ввести жида. Ввели жида. Несчастный едва стоял на ногах.

— Да, — промолвил генерал, обратясь ко мне, — а где же план, который найден на сем человеке?

Я вручил ему бумажку. Генерал развернул ее, отодвинулся назад, прищурил глаза, нахмурил брови.

— Это уд-див-вит-тельно... — проговорил он с расстановкой. — Кто его арестовал?

— Я, ваше превосходительство! — резко брякнул Силявка.

— А! хорошо! хорошо!.. Ну, любезный мой, что ты скажешь в своем оправданье?

— Ва... ва... ваше превосходительство, — пролепетал Гиршель, — я... помилуйте... ваше превосходительство... не виноват... Спросите, ваше превосходительство, господина офицера... Я фактор, ваше превосходительство, честный фактор.

— Его следует допросить, — проговорил генерал вполголоса, важно качнув головой. — Ну, как же ты это, братец?

— Не виноват, ваше превосходительство, не виноват.

— Однако же это есть невероятно. Ты, как по-русски говорится, делом взят, то есть на самих делах!

— Позвольте сказать, ваше превосходительство: я не виноват.

— Ты рисовал план? ты есть шпион неприятельский?

— Не я! — крикнул внезапно Гиршель, — не я, ваше превосходительство!

Генерал посмотрел на Силявку.

— Да врет же он, ваше превосходительство. Господин офицер сам из его башмака грамоту достал.

Генерал посмотрел на меня. Я принужден был кивнуть головой.

— Ты, любезный мой, есть неприятельский лазутчик... любезный мой...

— Не я... не я... — шептал растерявшийся жид.

— Ты уже доставлял сему подобные сведения и прежде неприятелю? Признавайся...

— Как можно!

— Ты, любезный мой, меня не будешь обманывать. Ты лазутчик?

Жид закрыл глаза, тряхнул головой и поднял полы своего кафтана.

ПОВЕСТИ

АНДРЕЙ КОЛОСОВ

В небольшой порядочно убранной комнате, перед камином, сидело несколько молодых людей. Зимний вечер только что начинался; самовар кипел на столе, разговор разыгрывался и переходил от одного предмета к другому. Начали толковать о людях необыкновенных и о том, чем они отличаются от обыкновенных людей. Каждый излагал свое мнение как умел; голоса возвысились и зашумели. Один небольшой, бледный человек, который долго слушал, попивая чай и покуривая сигарку, разглагольствования своих товарищей, внезапно встал и обратился ко всем нам (я тоже был в числе споривших) с следующими словами:

— Господа! все ваши глубокомысленные речи в своем роде хороши, но бесполезны. Каждый, как водится, узнаёт мнение своего противника и каждый остается при своем убеждении. Но мы не в первый раз сходимся, не в первый раз мы спорим и потому, вероятно, уже успели и высказаться и узнать мнения других. Так из чего же вы хлопочете?

Сказав эти слова, небольшой человек небрежно стряхнул в камин пепел с сигарки, прищурил глаза и спокойно улыбнулся. Мы все замолчали.

— Так что ж нам, по-твоему, делать? — сказал один из нас, — играть в карты, что ли? лечь спать? разойтись по домам?

— Приятно играть в карты и полезно спать, — возразил небольшой человек, — а разойтись по домам теперь еще рано. Но вы меня не поняли. Послушайте: я предлагаю каждому из вас, уж если на то пошло, описать нам какую-нибудь необыкновенную личность, рассказать нам свою встречу с каким-нибудь замечательным человеком. Поверьте мне, самый плохой рассказ гораздо дельнее самого отличного рассуждения.

Мы задумались.

— Странное дело, — заметил один из нас, большой шутник, — кроме самого себя, я не знаю ни одного необыкновенного человека, а моя жизнь вам всем, кажется, известна. Впрочем, если прикажете...

— Нет, — воскликнул другой, — не нужно! Да что, — прибавил он, обращаясь к небольшому человеку, — начни ты. Ты нас всех сбил с толку, тебе и книги в руки. Только смотри, если твой рассказ нам не понравится, мы тебя освищем.

— Пожалуй, — отвечал тот.

Он стал у камина; мы уселись вокруг него и притихли. Небольшой человек посмотрел на всех нас, взглянул в потолок и начал следующим образом:

— Десять лет тому назад, милостивые государи мои, я был студентом в Москве. Отец мой, добродетельный степной помещик, отдал меня на руки отставному немецкому профессору, который за сто рублей в месяц взялся меня поить, кормить и наблюдать за моею нравственностью. Этот немец был одарен весьма важной и степенной осанкой; я его сначала порядком побаивался. Но в один прекрасный вечер, возвратившись домой, я с невыразимым умилением увидел своего наставника, восседающего с тремя или четырьмя товарищами за круглым столом, на котором находилось довольно количество пустых бутылок и недопитых стаканов. Увидев меня, мой почтенный наставник встал и, размахивая руками и заикаясь, представил меня честной компании, которая вся тотчас же предложила мне стакан пунша. Это приятное зрелище освежительно подействовало на мою душу; будущность моя предстала мне в самых привлекательных образах. И действительно: с того достопамятного дня я пользовался неограниченной свободой и только что не колотил своего наставника. У него была жена, от которой вечно несло дымом и огуречным рассолом; она была еще довольно молода, но уже не имела ни одного переднего зуба. Известно, что все немки весьма скоро лишаются этого необходимого украшения человеческого тела. Я о ней упоминаю единственно потому, что она в меня влюбилась страстно и чуть-чуть не закармила меня насмерть.

— К делу, к делу, — закричали мы. — Уж не свои ли похождения ты хочешь нам рассказывать?

— Нет, господа! — возразил спокойно небольшой человек, — я обыкновенный смертный. Итак, я жил у моего немца, как говорится, припеваючи. В университет я ходил не слишком прилежно, а дома решительно ничего не делал. В весьма короткое время сошелся я со всеми моими товарищами и со всеми был на «ты». В числе моих новых друзей находился один довольно порядочный и добрый малый, сын отставного городничего. Его звали Бобовым. Этот Бобов повадился ко мне ходить и, как кажется, полюбил меня. И я его... знаете ли, не то чтоб любил, не то чтоб не любил, так как-то... Надобно вам сказать, что у меня в целой Москве не было ни одного родственника, исключая старого дяди, который у меня же иногда просил денег. Я никуда не ходил и в особенности боялся женщин; я также избегал знакомства с родителями моих университетских товарищей, с тех пор как один из этих родителей отодрал своего сына при мне за вихор — за то, что у него пуговица на мундире отпоролась, а у меня в тот день на всем сюртуке не находилось более шести пуговиц. В сравнении со многими из моих товарищей я слыл человеком богатым; отец мой изредка присылал мне небольшие пачки синих полинялых ассигнаций, а потому я не только наслаждался независимостью, но у меня постоянно были льстецы и прислужники... что я говорю — у меня! даже у моей куцей

собаки Армишки, которая, несмотря на свою легавую породу, до того боялась выстрела, что один вид ружья повергал ее в тоску неопи-санную. Впрочем, я, как всякий молодой человек, не был лишен того глу-хого, внутреннего брожения, которое обыкновенно, разрешившись дюжиной более или менее шершавых стихотворений, оканчивается весьма мирно и благополучно. Я чего-то хотел, к чему-то стремился и мечтал о чем-то; признаюсь, я и тогда не знал хорошенько, о чем именно я мечтал. Теперь я понимаю, чего мне недоставало: я чувство-вал свое одиночество, *жаждал* сообщения с так называемыми живы-ми людьми; слово: жизнь (выговаривай: *жызьнь*) звучало в моей душе, и я с неопределенной тоской прислушивался к этому звуку... Валерьян Никитич, пожалуйста мне пахитос.

Закурив пахитос, небольшой человечек продолжал:

— В одно прекрасное утро Бобов, запыхавшись, прибежал ко мне: «Знаешь, брат, великую новость? Колосов приехал». — «Колосов? что за птица господин Колосов?» — «Ты его не знаешь? Андриюшу Колосо-ва? Пойдем, братец, к нему поскорее. Он вчера вечером вернулся с *кондиции*». — «Да кто он такой?» — «Необыкновенный, братец, чело-век, помилуй!» — «Необыкновенный человек, — промолвил я, — сту-пай же ты один. Я останусь дома. Знаем мы ваших необыкновенных людей! Какой-нибудь полупьяный виршеплет с вечно восторженной улыбкой!..» — «Э, нет! Колосов не такой». Я было хотел заметить Бо-бову, что господину Колосову следовало самому явиться ко мне; но, не знаю почему, послушался Бобова и пошел. Бобов привел меня в один из самых грязных, кривых и узких переулков Москвы... Дом, в котором жил Колосов, был выстроен на старинный образец, хитро и неудобно. Мы вошли на двор; толстая баба развешивала белье на вере-вочки, протянутые от дома к забору... дети перекрикивались на дере-вянной лестнице...

— К делу! к делу! — возопили мы.

— Я вижу, господа, вы не любите приятного и придерживаетесь единственно полезного. Пожалуй! Через темный и узкий проход до-брались мы до комнаты Колосова; вошли. Вы, вероятно, имеете при-близительное понятие о том, что такое комната бедного студента. Прямо перед дверью на комод сидел Колосов и курил трубку. Он дру-жески протянул Бобову руку и вежливо мне поклонился. Я взглянул на Колосова и тотчас же почувствовал неотразимое влечение к нему. Господа! Бобов не ошибался: Колосов был действительно необыкно-венный человек. Позвольте мне описать вам его несколько подро-бнее... Он был роста довольно высокого, строен, ловок и весьма недур-ен собою. Его лицо... Я нахожу, господа, что весьма трудно описать чье-нибудь лицо! Легко перебрать поодиночке все отдельные черты; но каким образом передать другому то, что составляет отличительную принадлежность, сущность именно *этого* лица?

— То, что Байрон называет: «the music of the face»¹, — заметил один перетянутый и бледный господин.

¹ «музыка лица» (англ.).

— Так-с... А потому я ограничусь одним замечанием: то особенное «нечто», о котором я сейчас упомянул, состояло у Колосова в беззаботно веселом и смелом выражении лица да еще в улыбке, чрезвычайно пленительной. Родителей своих он не помнил, воспитан был на медные гроши в доме какого-то отдаленного родственника, который за взятки был выключен из службы. До пятнадцатилетнего возраста жил он в деревне; потом попал в Москву к старой, глухой попаде, пробыл у ней года два, вступил в университет и начал жить уроками. Он преподавал историю, географию и российскую грамматику, хотя об этих науках имел понятие слабое; но, во-первых, у нас на Руси завелись «руководства», чрезвычайно благодетельные для наставников; а во-вторых, требования почтенных купцов, поручавших Колосову образование своих детищ, были слишком ограничены. Колосов не был ни остряком, ни юмористом; но вы, господа, не можете себе представить, как охотно все мы покорялись этому человеку. Мы как-то невольно любовались им; его слова, его взгляды, его движения дышали такой юношеской прелестью, что все его товарищи были влюблены в него по уши. Профессора считали его малым неглупым, но «без больших способностей» и ленивым. Присутствие Колосова придавало особенную стройность нашим вечерним сходкам: веселость наша при нем никогда не переходила в безобразное буянство; становилось ли всем нам грустно — эта полудетская грусть при нем разрешалась тихим, иногда довольно дельным разговором и никогда не превращалась в хандру. Вы улыбаетесь, господа, — я понимаю вашу улыбку; точно, многие из нас впоследствии оказались порядочными пошлецами! Но молодость... молодость...

Oh talk not to me of a name great in story!
The days of our youth are the days of our glory...¹ —

промолвил тот же бледный господин...

— Фу ты, чёрт, какая у вас память! и всё из Байрона! — заметил рассказчик. — Словом, господа, Колосов был душою нашего общества. Я к нему привязался так сильно, как после того не привязывался ни к одной женщине. И между тем мне и теперь не совестно вспомнить эту странную любовь — именно любовь, потому что я, помнится, испытал тогда все терзания этой страсти, например, ревность. Колосов одинаково любил всех нас, но в особенности жаловал одного молчаливого, белокурого и смиренного малого по имени Гаврилова. С этим Гавриловым он почти никогда не расставался, часто с ним перешёптывался и вместе с ним исчезал из Москвы, бог весть куда, дня на два, на три... Колосов не любил расспросов, и я терялся в догадках. Не простое любопытство меня волновало; мне хотелось пойти в товарищи, в оруженосцы к Колосову; я ревновал к Гаврилову; я завидовал ему; я никак не мог, объяснить себе причину странных отлучек Колосова. Между

¹ О, не говорите мне о славном имени!
Дни нашей молодости — дни нашей славы...

тем в нем не было ни той таинственности, которою шеголяют юноши, одаренные самолюбием, бледностью, черными волосами и «выразительным» взглядом, ни того поддельного равнодушия, под которым будто бы скрываются громадные силы; нет: он весь был, как говорится, нараспашку; но когда им овладевала страсть, во всем существе его внезапно проявлялась порывистая, стремительная деятельность; только он не тратил своей силы по-пустому и никогда, ни в каком случае не становился на ходули. Кстати, господа... скажите правду: не случилось ли вам сидеть и курить трубку с таким уныло-величественным видом, как будто вы только что решились на великий подвиг, а вы просто размышляете о том, какого цвета сшить себе панталоны?.. Но дело в том, что я первый заметил в веселом и ласковом Колосове эти невольные, страстные порывы. Недаром говорят, что любовь пронизательна. Я решился — во что бы то ни стало — втереться в его доверенность. Мне не для чего было волочиться за Колосовым; я так детски благоговел перед ним, что он не мог сомневаться в моей преданности... но, к неописанной моей досаде, я должен был, наконец, убедиться, что Колосов избегал более тесного сближения со мною, что он как будто тяготился моей непрошенной привязанностью. Раз как-то он с явным неудовольствием попросил у меня денег взаймы — и на другой день с насмешливой благодарностью возвратил мне их снова. В течение целой зимы мои отношения к Колосову не изменились ни на волос; я часто сравнивал себя с Гавриловым — и не мог понять, чем он лучше меня... Но вдруг всё переменялось. В половине апреля Гаврилов захворал и умер на руках Колосова, который не отлучался ни на миг из его комнаты и целую неделю после его смерти не выходил никуда. Все мы сожалели о бедном Гаврилове; этот бледный, молчаливый человек как будто предчувствовал свою кончину. Я тоже искренно сожалел о нем, но сердце во мне замирало, ждало чего-то...

В один незабвенный вечер... я лежал один на диване и бессмысленно глядел в потолок... кто-то быстро растворил дверь моей комнаты и остановился на пороге; я приподнял голову: передо мной стоял Колосов. Он медленно вошел и сел подле меня. «Я пришел к тебе, — начал он довольно глухим голосом, — потому что ты более всех других меня любишь... Я потерял своего лучшего друга, — голос его слегка задрожал, — и чувствую себя одиноким... Вы все не знали Гаврилова... вы не знали...» Он встал, походил по комнате и быстро подошел ко мне... «Хочешь ли ты заменить мне его?» — сказал он и подал мне руку. Я вскочил и бросился к нему на грудь. Моя искренняя радость его тронула... Я не знал, что сказать, я задыхался... Колосов глядел на меня и тихонько посмеивался. Подали чай. За чаем он разговорился о Гаврилове; я узнал, что этот робкий и кроткий мальчик спас Колосову жизнь — и я должен был самому себе сознаться, что на месте Гаврилова я бы не мог не проболтаться — не похвастаться своим счастьем. Пробыло восемь часов. Колосов встал, подошел к окну, побарабанил по стеклам, быстро повернулся ко мне, хотел что-то сказать... и молча сел на стул. Я взял его за руку «Колосов! право, право, я заслуживаю

твою доверенность!» Он взглянул мне прямо в глаза. «Ну, если так, — промолвил он, наконец, — бери шапку, пойдем». — «Куда?» — «Гаврилов меня не спрашивал». Я тотчас же замолчал. «Ты умеешь играть в карты?» — «Умею».

Мы вышли, взяли извозчика к...ой заставе. У заставы мы слезли. Колосов пошел вперед очень скоро; я за ним. Мы шли по большой дороге. Пройдя с версту, Колосов свернул в сторону. Между тем настала ночь. Направо — в тумане мелькали огни, высились бесчисленные церкви громадного города; налево, подле леса, паслись на лугу две белые лошади; перед нами тянулись поля, покрытые сероватыми парами. Я шел молча за Колосовым. Он вдруг остановился, протянул руку вперед и промолвил: «Вот куда мы идем». Я увидел темный небольшой домик; два окошка слабо светились в тумане. «В этом доме, — продолжал Колосов, — живет некто Сидоренко, отставной поручик, с своей сестрой, старой девой — и дочерью. Я тебя выдам за своего родственника — ты сядешь с ним играть в карты». Я молча кивнул головой. Я хотел доказать Колосову, что я умел молчать не хуже Гаврилова... Но, признаюсь, любопытство сильно меня мучило. Подходя к крыльцу домика, я увидел в освещенном окне стройный образ девушки... Она, казалось, нас ждала и тотчас исчезла. Мы вошли, в темную и тесную переднюю. Кривая, горбатая старушка вышла к нам навстречу и с недоумением посмотрела на меня. «Иван Семеныч дома?» — спросил Колосов. «Дома-с». «Дома!» — раздался густой мужской голос из-за двери. Мы перешли в залу, если можно назвать залой длинную, довольно грязную комнату; старое небольшое фортепьяно смиренно прижалось к уголку подле печки; несколько стульев торчало вдоль стен, некогда желтых. Посреди комнаты стоял мужчина лет пятидесяти, высокого роста, сутуловатый, в замазленном шлафроке. Я взглянул на него попристальнее: угрюмое лицо, волосы щетиной, низкий лоб, серые глаза, огромные усы, толстые губы... «Хорош гусь!» — подумал я. «Давненько не видали мы вас, Андрей Николаич, — промолвил он, протягивая к нему свою безобразную красную руку, — давненько! А где Севастьян Севастьянович?» — «Гаврилов умер», — печально проговорил Колосов. «Умер? вот те на! А это кто?» — «Мой родственник — честь имею представить: Николай Алекс...» — «Хорошо, хорошо, — перебил его Иван Семеныч, — рад, очень рад. А в карты играет?» — «Играет, как же!» — «Ну и прекрасно; мы вот сейчас и засядем. Эй! Матрена Семеновна, где ты? карточный стол — поскорей!.. Да чаю!» С этими словами г-н Сидоренко пошел в другую комнату. Колосов посмотрел на меня. «Послушай, — сказал он, — мне бог знает как совестно!..» Я зажал ему рот. «Что ж вы, батюшка, как вас зовут, — пожалуйте сюда», — воскликнул Иван Семеныч. Я вошел в гостиную. Гостиная была еще меньше столовой. На стенах висели какие-то уродливые портреты; перед диваном, из которого в нескольких местах высывалась мочалка, стоял зеленый стол; на диване восседал Иван Семеныч и тасовал уже карты; подле него, на самом кончике кресел, сидела сухошавая женщина в белом чепце и черном платье, желтая,

сморщенная, с подслеповатыми глазками и тонкими кошачьими губами. «Вот, — сказал Иван Семеныч, — рекомендую; прежний-то умер; Андрей Николаевич привел другого; посмотрим, как он играет!» Старуха неловко поклонилась и раскашлялась. Я оглянулся; Колосова уже не было в комнате. «Полно тебе кашлять, Матрена Семеновна, овцы кашляют», — проворчал Сидоренко. Я сел; игра началась. Господин Сидоренко ужасно горячился и бесился при малейшей моей ошибке; осыпал сестру упреками; но она, по-видимому, успела привыкнуть к любезностям своего братца и только помаргивала глазами. Однако ж, когда он объявил Матрене Семеновне, что она «антихрист», бедная старуха вспыхнула. «Вы, Иван Семеныч, — проговорила она с сердцем, — супругу свою Анфису Карповну уморили, а меня не уморите!» — «Будто?» — «Нет, не уморите». — «Будто?» — «Нет! не уморите!» Таким образом они довольно долго перебранивались. Мое положение было, как изволите видеть, не только незавидно, но даже просто глупо; я не понимал, зачем Колосову вздумалось привести меня... Я никогда не был хорошим игроком; но тут я сам чувствовал, что играю из рук вон плохо. «Нет! — повторял беспрестанно отставной поручик, — далеко вам до Севастьяныча! Нет! вы рассеянно играете!» Я, разумеется, внутренне послал его ко всем чертям. Эта попытка продолжалась часа два; меня обыграли в пух. Перед концом последнего роббера услышал я за своим стулом легкий шум — оглянулся и увидел Колосова; подле него стояла девушка лет семнадцати и с едва заметной улыбкой посматривала на меня. «Набей-ка мне трубку, Варя», — проворчал Иван Семеныч. Девушка тотчас порхнула в другую комнату. Она была не очень хороша собой, довольно бледна, довольно худая; но я и прежде и после не видывал ни таких глаз, ни таких волос. Мы кое-как доиграли роббер; я расплатился. Сидоренко закурил трубку и возопил: «Ну, теперь пора ужинать!» Колосов представил меня Варе, то есть Варваре Ивановне, дочери Ивана Семеныча. Варя сконфузилась; и я сконфузился. Но Колосов, по своему обыкновению, в несколько мгновений привел всё и всех в порядок: усадил Варю за фортепьяно, попросил ее сыграть плясовую и пустил ее хватывать казачка взапуски с Иваном Семенычем. Поручик вскрикивал, топал и выкидывал ногами такие непостижимые штуки, что сама Матрена Семеновна расхохоталась, раскашлялась и ушла к себе наверх. Горбатая старушонка накрыла стол; мы сели ужинать. За ужином Колосов рассказывал разные вздоры; поручик смеялся оглушительно; я исподлобья поглядывал на Варю. Она глаз не сводила с Колосова... и я по одному выражению ее лица мог догадаться, что она и любит его — и любима им. Губы ее были слегка раскрыты, голова немножко нагнулась вперед, по всему лицу играла легкая краска; она изредка глубоко вздыхала, вдруг опускала глаза и тихонько смеялась... Я радовался за Колосова... А между тем мне было, чёрт возьми, завидно...

После ужина мы с Колосовым тотчас взялись за шапки, что, однако ж, не помешало поручику, позевывая, сказать нам: «Вы, господа, засиделись; пора вам и честь знать». Варя проводила Колосова до пе-

редней. «Когда же вы придете, Андрей Николаевич? — шепнула она ему. «На днях, непременно». — «Приведите ж и его», — прибавила она с весьма коварной улыбкой. «Как же, как же...» «Покорнейший слуга!» — подумал я...

На возвратном пути узнал я следующее. Месяцев шесть тому назад Колосов довольно странным образом познакомился с господином Сидоренко. В один дождливый вечер Колосов возвращался домой с охоты — и подходил уже к...ой заставе, как вдруг в недалеком расстоянии от дороги он услышал стоны, прерываемые проклятиями. С ним было ружье; не думая долго, отправился он прямо на крик и нашел на земле человека с вывихнутой ногой. Этот человек был господин Сидоренко. С большим трудом проводил он его до дому, поручил его попечениям испуганной сестры и дочери, сбежал за доктором... Между тем настало утро; Колосов едва мог стоять на ногах от усталости. С позволения Матрены Семеновны он бросился на диван в гостиной и проспал часов до восьми. Проснувшись, он тотчас хотел было уйти домой; но его удержали и напоили чаем. Ночью ему удалось увидеть раза два мельком бледное личико Варвары Ивановны; он не обратил на нее особенного внимания, но утром она ему решительно понравилась. Матрена Семеновна болтливо восхваляла и благодарила Колосова; Варя сидела молча, разливая чай, изредка поглядывала на него и с робкой, стыдливой услужливостью подавала ему то чашку, то сливки, то сахарницу. В это время поручик проснулся, громким голосом потребовал трубку и, помолчав немного, закричал: «Сестра! а сестра!» Матрена Семеновна отправилась к нему в спальню. «Что, этот... как его зовут, чёрт знает! ушел, что ли?» — «Нет, я еще здесь, — отвечал Колосов, подойдя к дверям. — Вам лучше теперь?» — «Лучше, — отвечал поручик, — войдите-ка сюда, батюшка». Колосов вошел. Сидоренко посмотрел на него и неохотно проговорил: «Ну, спасибо; заходите ж когда-нибудь ко мне — как вас зовут, чёрт вас знает?» — «Колосов», — возразил Андрей. «Ну, хорошо, хорошо, заходите; а теперь вам нечего здесь киснуть; чай, вас дома ждут». Колосов вышел, простился с Матреной Семеновной, поклонился Варваре Ивановне и вернулся домой. С этого дня он начал ходить к Ивану Семенычу сперва изредка, потом всё чаще и чаще. Наступило лето; он возьмет, бывало, ружье, наденет ягдташ и отправится будто на охоту; зайдет к отставному поручику — да и засидится у него до вечера. Отец Варвары Ивановны прослужил лет двадцать пять в армии, нажил небольшие деньжишки и купил себе несколько десятин земли в двух верстах от Москвы. Он едва умел читать и писать; но, несмотря на свою наружную неповоротливость и грубость, был смышлен и хитер, и даже плутоват подчас, как многие малороссы. Он был эгоист страшный, упрям, как вол, и вообще весьма нелюбезен, особенно с незнакомыми; мне даже случалось подмечать в нем что-то похожее на презрение ко всему роду человеческого. Он ни в чем себе не отказывал, как избалованное дитя, никого знать не хотел и жил «в свое удовольствие». Мы как-то раз разговорились с ним о свадьбах вообще. «Свадьба... свадьба, — прогово-

рил он. — Ну, на какой дьявол выдам я свою девку замуж? Ну, для чего? Чтоб ее муженек тузил ее, как я тузил свою покойницу? А я-то с кем останусь?» Вот каков был отставной поручик Иван Семеныч. Колосов ходил к нему, — разумеется, не на его счет, а на счет его дочки. В один прекрасный вечер Андрей сидел с ней в саду и болтал о чем-то. Иван Семеныч подошел к ним, угрюмо посмотрел на Варю и отозвал Андрея в сторону. «Послушай, братец, — сказал он ему, — тебе, я вижу, весело болтать с моей единокровной, а мне, старику, скучно; приведи-ка кого-нибудь с собой, а то мне не с кем в карты перекинуть; слышишь? Одного тебя я пускать не стану». На следующий день Колосов явился с Гавриловым, и бедный Севастьян Севастьяныч в течение целой осени и зимы играл по вечерам в карты с отставным поручиком; этот достойный муж обходился с ним, как говорится, без чинов, то есть ужасно грубо. Теперь вы, господа, вероятно, поняли, зачем Колосов, после смерти Гаврилова, привел меня с собой к Ивану Семенычу. Сообщив мне все эти подробности, Колосов прибавил: «Я люблю Варю, она премилая девушка; ты ей понравился».

Я, кажется, забыл довести до сведения вашего, милостивые государи мои, что до того времени я боялся женщин и избегал их, хотя, бывало, наедине по целым часам мечтал о свиданьях, о любви, о взаимной любви и т. д. Варвара Ивановна была первая девушка, с которой необходимость заставила меня поговорить — именно необходимость. Варя была девушка очень обыкновенная, — а между тем таких девушек весьма немного на святой Руси. Вы меня спросите: отчего? Оттого, что я никогда не замечал в ней ничего натянутого, неестественного, жеманного: оттого, что она была простое, открытое, несколько грустное создание; оттого, что ее нельзя было назвать «барышней». Мне нравилась ее тихая улыбка; я любил ее простодушно-звонкий голосок, ее легкий и веселый смех, ее внимательные, хотя совсем не «глубокие» взоры. Этот ребенок не обещал ничего; но вы невольно любовались им, как любуетесь внезапным мягким криком иволги вечером, в высокой и темной березовой роще. Я должен сознаться, что в иное время я довольно равнодушно прошел бы мимо такого создания: мне теперь не до вечерних одиноких прогулок, не до иволг; но тогда...

Господа, я думаю, вы, как все порядочные люди, были влюблены хоть раз в течение своей жизни и на собственном опыте узнали, каким образом зарождается и развивается любовь в человеческом сердце; а потому я не стану слишком распространяться о том, что происходило во мне тогда. Мы с Колосовым довольно часто ходили к Ивану Семенычу; и хотя проклятые карты меня не раз приводили в совершенное отчаяние, но в одной близости любимой женщины (я полюбил Варю) есть какая-то странная, сладкая, мучительная отрада. Я не старался подавлять это возникающее чувство; притом, когда я, наконец, решился назвать это чувство по имени, оно уже было слишком сильно... Я молча лелеял и ревниво и робко таил свою любовь. Мне самому нравилось это томительное брожение молчаливой страсти. Страдания

мои не лишали меня ни сна, ни пищи; но я по целым дням ощущал в груди то особенное физическое чувство, которое служит признаком присутствия любви. Я не в состоянии изобразить вам ту борьбу разнороднейших ощущений, которая происходила во мне, когда, например, Колосов возвращался с Варей из сада и всё лицо ее дышало восторженной преданностью, усталостью от избытка блаженства... Она до того жила его жизнью, до того была проникнута им, что незаметно перенимала его привычки, так же взглядывала, так же смеялась, как он... Я воображаю, какие мгновенья провела она с Андреем, каким блаженством обязана ему... А он... Колосов не утратил своей свободы; в ее отсутствии он, я думаю, и не вспоминал о ней; он был всё тем же беспечным, веселым и счастливым человеком, каким мы его всегда звали.

Итак, мы, как я вам уже сказал, ходили с Колосовым к Ивану Семенычу довольно часто. Иногда (когда он не был в духе) отставной поручик не засаживал меня за карты; в таком случае он молча забивался в угол, хмурил брови и поглядывал на всех волком. В первый раз я обрадовался его снисхождению; но потом, бывало, сам начну упрашивать его сесть за «вистик»: роль третьего лица так невыносима! я так неприятно стеснял и Колосова и Варю, хотя они сами уверяли друг друга, что при мне нечего церемониться!..

Между тем время шло да шло... Они были счастливы... Я не охотник описывать счастье других. Но вот я стал замечать, что детская восторженность Вари постепенно заменялась более женским, более тревожным чувством. Я начал догадываться, что новая погудка загудела на старый лад, то есть что Колосов... понемногу... холодеет. Это открытие меня, признаюсь, обрадовало; признаюсь, я не почувствовал ни малейшего негодованья против Андрея.

Промежутки между нашими посещениями становились всё больше и больше... Варя начинала встречать нас с заплаканными глазками. Послышались упреки... Бывало, я спрошу Колосова с притворным равнодушием: «Что ж? пойдём мы сегодня к Ивану Семенычу?..» Он холодно посмотрит на меня и спокойно проговорит: «Нет, не пойдём». Мне иногда казалось, что он лукаво улыбается, говоря со мной о Варе... Вообще я не заменил ему Гаврилова... Гаврилов был в тысячу раз добрей и глупей меня.

Теперь позвольте мне небольшое отступление. Говоря вам о своих университетских товарищах, я не упомянул о некоем господине Щитове. Этому Щитову минул тридцать пятый год; он уже лет десять числился в студентах. Я и теперь живо вижу перед собой его довольно длинное бледное лицо, маленькие карие глазки, длинный, орлиный, к концу скривленный нос, тонкие, насмешливые губы, торжественный хохол, подбородок, самодовольно утопавший в широком полинялом галстуке цвета воронова крыла, манишку с бронзовыми пуговицами, синий фрак нараспашку, пестрый жилет; мне слышится его неприятно дребезжащий смех... Он таскался всюду, отличался на всех возможных «танцклассах»... Помнится, я не мог без особенного со-

дроганья слушать его цинические рассказы... Колосов его как-то сравнил однажды с неподметенной комнатой русского трактира... страшное сравнение! И между тем в этом человеке было пропасть ума, здравого смысла, наблюдательности, остроты... Он иногда поражал нас каким-нибудь до того дельным, до того верным и резким словом, что мы все невольно притихали и с изумлением глядели на него. Да ведь русскому человеку в сущности всё равно: глупость ли он сказал или умную вещь. В особенности боялись Щитова те самолюбивые, мечтательные и бездарные мальчишки, которые по целым дням мучительно высиживают дюжину паскуднейших стишков, нараспев читают их своим «друзьям» и пренебрегают всяким положительным знанием одного из них он просто выжил из Москвы, беспрестанно повторяя ему его же два стишка:

Человек —
Сей неободранный скелет...

«Скелет» рифмовал с «человеком». Между тем сам Щитов тоже ведь ничего не делал и ничему не учился... Но это всё в порядке вещей. Вот этот-то Щитов, бог весть с чего, начал трунить над моей романтической привязанностью к Колосову. В первый раз я с благородным негодованием прогнал его к чёрту; во второй раз я с холодным презрением объявил ему, что он не в состоянии судить о нашей дружбе — однако ж я его не прогнал; и когда он, прощаясь со мной, заметил, что я без позволения Колосова не смею даже хвалить его, мне стало досадно; последние слова Щитова запали мне в душу. Более двух недель я не видал Вари... Гордость, любовь, смутное ожидание — множество разных чувств расшевелилось во мне... Я махнул рукой и с страшным замиранием сердца отправился один к Ивану Семенычу.

Не знаю, как я добрался до знакомого домика; помню, что несколько раз садился отдыхать на дороге — не от усталости, от волнения. Я вошел в переднюю и не успел еще произнести одно слово, как дверь из залы растворилась и Варя выбежала ко мне навстречу. «Наконец, — сказала она трепещущим голосом, — где ж Андрей Николаевич?» — «Колосов не пришел...» — пробормотал я с усилием. «Не пришел?» — повторила она. «Да... он велел вам сказать, что... его задержали...» Я решительно не знал сам, что говорил, и не смел поднять глаза. Варя неподвижно и безмолвно стояла передо мною. Я взглянул на нее: она повернула голову в сторону; две крупные слезы медленно покатались по ее щекам. В выражении ее лица было столько внезапной, горькой скорби; борьба стыдливости, горя, доверенности ко мне так добродушно, так трогательно высказалась в невольном движении ее бедной головки, что сердце во мне перевернулось. Я подался немного вперед... она быстро вздрогнула и убежала. В зале меня встретил Иван Семеныч. «Что это, батюшка, вы один-с?» — спросил он меня, странно прищурив левый глаз. «Один-с», — отвечал я с замешательством. Сидоренко вдруг расхохотался и ушел в другую комнату. Я никогда еще не находился в таком глупейшем положении, — чёрт знает что за га-

дость! Но делать было нечего. Я стал ходить взад и вперед по зале. «Чему, — думал я, — засмеялся этот толстый кабан?» Матрена Семеновна с чулком в руках вышла в залу и уселась у окошка. Я начал с ней разговаривать. Между тем подали чай. Варя сошла сверху, бледная и печальная. Отставной поручик острил насчет Колосова. «Я, — говорил он, — знаю, что он за гусь; теперь, я думаю, чай, его сюда калачом не заманишь!» Варя поспешно встала и ушла. Иван Семеныч посмотрел ей вслед и плутовски присвистнул. Я с недоумением взглянул на него. «Неужели ж, — думал я, — он всё знает?» И поручик, как будто угадывая мои мысли, утвердительно покачал головой. Тотчас после чая я встал и раскланялся. «Вас-то, батюшка, мы еще увидим», — заметил мне поручик. Я ни слова не отвечал... я просто начинал бояться этого человека. На крыльце чья-то холодная, дрожащая рука схватила мою руку; я оглянулся: Варя. «Мне нужно поговорить с вами, — шепнула она. — Приходите завтра пораньше, прямо в сад. После обеда папаша спит; нам никто не помешает». Я молча пожал ей руку — и мы расстались.

На другой день, в три часа пополудни, я уже был в саду Ивана Семеныча. Утром я не видал Колосова, хоть он и заходил ко мне. День был осенний, серый, но тихий и теплый. Желтые тонкие былинки грустно качались над побледневшей травой; по темно-бурым, обнаженным сучьям орешника попрыгивали проворные синицы; запоздалые жаворонки торопливо бегали по дорожкам; кой-где по зеленым осторожно пробирался заяц; стадо лениво бродило по жнивью. Я нашел Варю в саду, под яблоней, на скамейке; на ней было темное, немного измятое платье; в ее усталом взгляде, в небрежной прическе волос высказывалась неподдельная горесть.

Я сел подле нее. Мы оба молчали. Она долго вертела в руках какую-то ветку, наклонила голову, проговорила: «Андрей Николаевич...» Я тотчас заметил по движениям ее губ, что она собиралась заплакать, и начал утешать ее, с жаром уверять ее в привязанности Андрея... Она слушала меня, печально покачивала головой, произносила невнятные слова и тотчас же умолкала, но не плакала. Первые мгновения, которых я более всего боялся, прошли довольно благополучно. Она понемногу разговорилась об Андрее. «Я знаю, что он меня теперь уж не любит, — повторяла она, — бог с ним! Я не могу придумать, как мне жить без него... Я по ночам не сплю, все плачу... Что ж мне делать?.. Что ж мне делать?..» Глаза ее наполнились слезами. «Он мне казался таким добрым... и вот...» Варя утерла слезы, кашлянула и выпрямилась. «Давно ли, кажется, — продолжала она, — он мне читал *из* Пушкина, сидел со мной на этой скамье...» Наивная болтливость Вари меня трогала; я молча слушал ее признанья: душа моя медлительно проникалась горьким, мучительным блаженством; я не отводил глаз от этого бледного лица, от этих длинных мокрых ресниц, от полураскрытых, слегка засохших губ... И между тем я чувствовал... Угодно вам выслушать небольшой психологический разбор моих тогдашних чувств? Во-первых, меня мучила мысль, что не я любим, не я застав-

ляю страдать Варю; во-вторых, меня радовала ее доверенность; я знал: она будет благодарна за то, что я доставил ей возможность высказать свое горе; в-третьих, я внутренне давал себе слово сблизить опять Колосова с Варей, и меня утешало сознание моего великодушия... в-четвертых, я надеялся своим самоотвержением тронуть сердце Вари — а там... Вы видите, я не щажу себя; слава богу, пора! Но вот на колокольне...го монастыря пробило пять часов; вечер быстро приближался. Варя торопливо встала, всунула мне в руку записочку и пошла домой. Я догнал ее, обещал ей привести Андрея и тихонько, будто счастливый любовник, выскочил из калитки в поле. На записке неровным почерком были написаны слова: «Милостивому государю, Андрею Николаевичу».

На другой же день, рано поутру, я отправился к Колосову. Признаюсь, хоть я и уверял себя, что мои намерения не только благородны, но даже вообще исполнены великодушного самоотвержения, я все-таки чувствовал какую-то неловкость, даже робость. Пришел я к Колосову. У него сидел некто Пузырицын, недоучившийся студент, один из сочинителей романов, известных под именем «московских», или «серых». Пузырицын был весьма добрый и робкий человек и всё собирався поступить в гусары, несмотря на свои тридцать три года. Он принадлежал к числу тех людей, которым непременно надобно раз в сутки сказать фразу вроде: «Прекрасное всё гибнет в пышном цвете, таков удел прекрасного на свете», для того чтобы всё остальное время дня с удвоенной приятностью покуривать трубочку в кружку «добрых товарищей». Зато его и прозвали идеалистом. Итак, этот Пузырицын сидел у Колосова и читал ему какой-то «отрывок». Я стал слушать: дело шло о юноше, который любил деву, убивает ее и т. д. Наконец, Пузырицын кончил и удалился. Его нелепое сочинение, восторженно крикливый голос, вообще его присутствие возбудило в Колосове насмешливую раздражительность. Я чувствовал, что пришел не в пору, но делать было нечего; без всяких предисловий вручил я Андрею записку Вари.

Колосов с изумлением посмотрел на меня, распечатал записку, пробежал ее глазами, помолчал и спокойно улыбнулся. «Вот как! — проговорил он, наконец. — Так ты был у Ивана Семеныча?» — «Был, вчера, один», — отвечал я отрывисто и решительно. «А!..» — насмешливо заметил Колосов и закурил трубку. «Андрей, — сказал я ему, — тебе не жаль ее?.. Если б ты видел ее слезы...» И я пустился красноречиво описывать свое вчерашнее посещение. Я действительно был тронут. Колосов молчал и курил трубку. «Ты сидел с ней под яблоней в саду? — проговорил он, наконец. — Помнится, в мае и я сидел с ней на этой скамейке... Яблонь была в цвету, изредка падали на нас свежие белые цветочки, я держал обе руки Вари... мы были счастливы тогда... Теперь яблонь отцвела, да и яблоки на ней кислые». Я запыхал благодарным негодованьем, начал упрекать Андрея в холодности, в жестокости; толковал ему, что он не имеет права так внезапно покинуть девушку, в которой он возбудил множество новых впечатлений;

просил его по крайней мере пойти проститься с Варей. Колосов выслушал меня до конца. «Положим, — сказал он мне, когда, взволнованный и усталый, я бросился в кресла, — положим, что тебе, как другу моему, позволено осуждать меня... Но выслушай же мое оправдание, хотя...» Тут он помолчал немного и странно улыбнулся. «Варя прекрасная девушка, — продолжал он, — и ни в чем передо мной не виновата... Напротив, я ей многим обязан, очень многим. Я перестал ходить к ней по весьма простой причине — я разлюбил ее...» — «Да отчего же? отчего же?» — перебил я его. «А бог знает отчего. Пока я любил ее, я весь принадлежал ей; я не думал о будущем и всем, всей жизнью своей делился с нею... Теперь эта страсть во мне погасла... Что ж? Ты мне прикажешь притворяться, прикидываться влюбленным, что ли? Да из чего? из жалости к ней? Если она порядочная девушка, так она сама не захочет такой милостыни, а если она рада тешиться моим... участием, так чёрт ли в ней?..» Беспечно-резкие выражения Колосова меня оскорбляли, может быть, более потому, что дело шло о женщине, которую я втайне любил... Я вспыхнул. «Полно! — сказал я ему, — полно! Я знаю, почему ты перестал ходить к Варе». — «Почему?» — «Танюша тебе запретила». Сказав эти слова, я вообразил, что сильно уязвил Андрея. Эта Танюша была весьма «легкая» барышня, черноволая, смуглая, лет двадцати пяти, развязная и умная как бес, Щитов в женском платье. Колосов ссорился и мирился с ней раз пять в месяц. Она страстно его любила, хоть иногда, во время размолвки, божилась и клялась, что жаждет его крови... Да и Андрей не мог бы обойтись без нее. Колосов посмотрел на меня и спокойно проговорил: «Может быть». — «Не может быть, — закричал я, — а наверное!» Упреки мои, наконец, надоели Колосову... Он встал и надел фуражку. «Куда?» — «Гулять; у меня от вас с Пузырицыным голова разболелась». — «Ты на меня сердисься?» — «Нет», — отвечал он, улыбнувшись своей милой улыбкой, и протянул мне руку. «По крайней мере, что ты велишь сказать Варе?» — «Что?.. — Он немного призадумался. — Она тебе сказывала, — промолвил он, — что мы вместе с ней читали Пушкина... Напомни ей один пушкинский стих». — «Какой, какой?» — спросил я с нетерпеньем. «А вот какой:

Что было, то не будет вновь».

С этими словами он вышел из комнаты. Я пошел вслед за ним; на лестнице он остановился. «И очень она огорчена?» — спросил он меня, надвинув шапку на глаза. «Очень, очень...» — «Бедная! Утешь ее, Николай; ведь ты ее любишь». — «Да, я привязался к ней, разумеется...» — «Ты ее любишь», — повторил Колосов и взглянул мне прямо в глаза. Я молча отвернулся; мы разошлись.

Придя домой, я был как в лихорадке.

«Я исполнил свой долг, — думал я, — победил собственное самолюбие; я советовал Андрею сойтись вновь с Варей!! Теперь я прав: честь предложена, от убытков Бог избавил». Между тем равнодушие

Андрея оскорбляло меня. Он не ревновал ко мне, он велел мне *уехать* ее... Да разве Варя уж такая обыкновенная девушка?.. разве она не стоит даже сожаленья?.. «Найдутся люди, которые сумеют оценить то, чем вы пренебрегаете, Андрей Николаич!.. Но что пользы?.. Ведь она меня не любит... Да, она меня не любит теперь, пока она еще не совсем потеряла надежду на возвращение Колосова... Но потом... кто знает? моя преданность ее тронет, я откажусь от всяких притязаний... я отдам ей всего себя, безвозвратно... Варя! неужели ж ты меня не полюбишь... никогда?.. никогда?..»

Вот какие речи произносил ваш покорнейший слуга в столичном граде Москве, лета тысяща восемьсот тридцать третьего, в доме своего почтенного наставника. Я плакал... я замирал... Погода была скверная... мелкий дождь с упорным, тонким скрипом струился по стеклам; влажные, темно-серые тучи недвижно висели над городом. Я наскоро пообедал, не отвечал на заботливые расспросы доброй немки, которая сама расхныкалась при виде моих красных, опухших глаз (немки — известное дело — всегда рады поплакать); обошелся весьма немилостиво с наставником... и тотчас после обеда отправился к Ивану Семенычу... Согнувшись в три погубели на тряских «калиберных» дрожках, я сам себя спрашивал: что? рассказать ли Варе всё как есть, или продолжать лукавить и понемногу отучать ее от Андрея?.. Я доехал до Ивана Семеныча и не знал, на что решиться... Я застал всё семейство в зале. Увидев меня, Варя страшно побледнела, но не тронулась с места; Сидоренко заговорил со мной как-то особенно насмешливо... Я отвечал ему как мог, изредка поглядывая на Варю... и почти бессознательно придал своему лицу уныло-задумчивое выражение. Поручик опять составил «вистик». Варя села подле окошка и не шевелилась. «Чай, тебе теперь скучно?» — раз двадцать спросил ее Иван Семеныч. Наконец, мне удалось улучшить удобное мгновенье. «Вы опять одни», — шепнула мне Варя. «Один, — отвечал я мрачно, — и, вероятно, надолго». Она быстро понурила голову. «Отдали вы ему мое письмо?» — проговорила она едва слышным голосом. «Отдал». — «Ну?..» Она задыхалась. Я взглянул на нее... Злая радость внезапно вспыхнула во мне. «Он велел вам сказать, — произнес я с расстановкою, — что было, то не будет вновь...» Варя схватилась левой рукой за сердце, протянула правую вперед, покачнулась вся и проворно вышла из комнаты. Я хотел догнать ее... Иван Семеныч остановил меня. Я остался еще часа два у него, но Варя не появлялась. На возвратном пути мне стало совестно... совестно перед Варей, перед Андреем, перед самим собою; хотя, говорят, лучше разом отсечь страдающий член, чем долго томить больного, но кто ж мне дал право так безжалостно поразить сердце бедной девушки?.. Я долго не мог заснуть... но заснул же, наконец. Вообще я должен повторить, что «любовь» ни разу не лишала меня сна.

Я начал ездить к Ивану Семенычу довольно часто; мы виделись по-прежнему с Колосовым, но ни я, ни он не упоминали о Варе. Мои отношения к ней были довольно странного рода. Она привязалась ко

мне тою привязанностью, которая исключает всякую возможность любви; она не могла не заметить моего горячего участия и охотно со мной говорила... о чем бы вы думали? — о Колосове, об одном Колосове! Этот человек до того завладел ею, что она как будто не принадлежала самой себе. Я тщетно старался возбудить ее гордость... она или молчала, или говорила, и как! болтала о Колосове. Я тогда и не подозревал, что горе такого рода, болтливое горе, в сущности гораздо истиннее всех молчаливых страданий. Признаюсь, я пережил много горьких мгновений в то время. Я чувствовал, что не в состоянии заменить Колосова; я чувствовал, что прошедшее Вари так полно, так прекрасно... а настоящее так бедно... Я дошел до того, что невольно вздрагивал при словах: «Помните ли...», которыми почти каждая речь ее начиналась. Она немного похудела в первые дни нашего знакомства... но потом опять поправилась и даже повеселела; ее тогда можно было сравнить с раненой, не совсем еще выздоровевшей птичкой. Между тем мое положение становилось невыносимым; самые низкие страсти понемногу завладели душой моей; мне случалось клеветать на Колосова в присутствии Вари. Я решился прекратить такие неестественные отношения. Но как? Расстаться с Варей — я не мог... Объяснить ей свою любовь — я не смел; я чувствовал, что не могу пока надеяться на взаимность. Жениться на ней... Эта мысль меня испугала; мне было всего восемнадцать лет; мне стало страшно так рано «закабалить» всю свою будущность; я вспомнил отца, мне послышались насмешки товарищей, Колосова... Но, говорят, всякая мысль подобна тесту: стоит помять ее хорошенько — всё из нее сделаешь. Я начал по целым дням думать о женитьбе... Я воображал себе, какой благодарностью преисполнится сердце Вари, когда я, товарищ и поверенный Колосова, предложу ей свою руку, зная, что она безнадежно любит другого. Люди опытные, помнится, говаривали мне, что брак по любви — совершенная нелепость; я начал фантазировать: воображал себе наше тихое житье вдвоем, где-нибудь в теплом уголке южной России; мысленно следил за постепенным переходом сердца Вари от благодарности к дружбе, от дружбы к любви... Я давал себе слово тотчас же оставить Москву, университет, забыть всё и всех. Я начал избегать свиданий с Колосовым. Наконец, в одно зимнее ясное утро (накануне Варя как-то особенно меня очаровала) я оделся получше, медленно и торжественно вышел из комнаты, нанял отличного извозчика и поехал к Ивану Семенычу. Варя сидела в зале одна и читала Карамзина. Увидев меня, она тихонько положила книгу на колени и с тревожным любопытством посмотрела мне в лицо: я никогда к ним по утрам не ездил... Я подсел к ней; мучительно билось мое сердце. «Что вы это читаете?» — спросил я, наконец. «Карамзина». — «Что ж? Вас занимает русская...» Она вдруг перебила меня. «Послушайте, вы не от Андрея ли?» Это имя, этот трепетный, вопрошающий голос, полурадостное, полуробкое выражение ее лица, все эти несомненные признаки живучей любви — стрелами впились в мою душу. Я решился или расстаться с Варей, или получить от нее же самой право навсегда согнать с ее губ

ненавистное имя Андрея. Я не помню, что я сказал ей тогда; сперва я, должно быть, выражался довольно неясно, потому что она долго меня не понимала; наконец, я не вытерпел и почти закричал: «Я вас люблю, я хочу на вас жениться». — «Вы меня любите?» — с изумлением проговорила Варя. Мне показалось, что она хочет встать, уйти, отказать мне. «Ради бога, — прошептал я задыхаясь, — не отвечайте мне, не говорите мне ни да, ни нет: подумайте; завтра я вернусь за решительным ответом... Я давно вас люблю. Я не требую от вас любви, я хочу быть вашим защитником, вашим другом, не отвечайте мне теперь, не отвечайте... До завтра». С этими словами я бросился вон из комнаты. В передней встретил меня Иван Семеныч и не только не удивился моему посещению, но даже с приятной улыбкой предложил мне яблоко. Такая неожиданная любезность до того поразила меня, что я просто остолбенел. «Возьмите ж яблочко, хорошее яблочко, право!» — твердил Иван Семеныч. Я машинально взял, наконец, яблоко и доехал с ним до дома.

Вы легко себе можете представить, как я провел весь этот день и следующее утро. Эту ночь я спал довольно плохо. «Боже мой! боже мой! — думал я, — если она мне откажет!.. Я погибну... я погибну!.. — повторял я уныло. — Да, она непременно мне откажет... И к чему я так торопился!..» Желая чем-нибудь развлечь себя, я начал писать письмо к отцу — отчаянное, решительное. Говоря о себе, я употреблял слова: «ваш сын». Бобов ко мне зашел. Я стал плакать на его груди, чему бедный Бобов, вероятно, удивился немало... Я потом узнал, что он приходил ко мне занять денег (хозяин грозился выгнать его из дому); он принужден был — говоря студентским языком — удалиться вспять и обратно... Наконец, настал великий миг. Выходя из комнаты, я остановился в дверях. «С какими чувствами, — подумал я, — перешагну я сегодня этот порог!..» Волнение мое при виде домика Ивана Семеныча было до того сильно, что я слез, достал пригоршню снега и жадно приник к нему лицом. «О господи! — думал я, — если я застаю Варю одну, — я пропал!» Ноги мои подкашивались; я едва взобрался на крыльцо. Желанья мои сбылись. Я нашел Варю в гостиной с Матреной Семеновной. Я неловко раскланялся и присел к старухе. Лицо Вари было несколько бледнее обыкновенного... мне показалось, что она старалась избегать моих взоров... Но что случилось со мной, когда Матрена Семеновна вдруг поднялась и пошла в другую комнату!.. Я начал глядеть в окно — я весь внутренно трепетал, как осиновый лист. Варя молчала... Наконец, я преодолел свою робость, подошел к ней, нагнул голову... «Что ж вы мне скажете?» — произнес я замирающим голосом. Варя отвернулась — слезы сверкнули у ней на ресницах. «Я вижу, — продолжал я, — мне нечего надеяться...» Варя стыдливо взглянула кругом и молча подала мне руку. «Варя!» — невольно проговорил я... и остановился, как будто испугавшись собственных надежд. «Поговорите с папенькой», — промолвила она, наконец. «Вы мне позволяете поговорить с Иваном Семенычем?..» — «Да-с». Я осыпал ее руки поцелуями. «Полноте-с, полноте-с», — шептала Варя — и вдруг

залилась слезами. Я подсел к ней, уговаривал ее, утирал ее слезы... К счастью, Ивана Семеныча не было дома, а Матрена Семеновна ушла в свою светелку. Я клялся Варе в любви, в верности... «Да, — сказала она, удерживая последние рыдания и беспрестанно утирая слезы, — я знаю, вы хороший человек; вы честный человек; вы не то, что Колосов...» — «Опять это имя!..» — подумал я. Но с каким наслаждением целовал я эти теплые, сырые ручки! с какой тихой радостью глядел я в это милое лицо!.. Я говорил ей о будущем, ходил по комнате, садился перед ней на полу, закрывал глаза рукой и вздрагивал... Тяжелая походка Ивана Семеныча прервала наш разговор. Варя торопливо встала и ушла к себе — не пожав, однако ж, мне руки, не взглянув на меня. Г-н Сидоренко был еще любезнее вчерашнего: смеялся, потирал себе живот, острил насчет Матрены Семеновны и т. д. Я было хотел тотчас попросить его «благословения», но подумал и отложил до завтра. Его тяжелые шутки мне надоели; притом я чувствовал усталость... Я простился с ним и уехал.

Я принадлежу к числу людей, которые любят размышлять о собственных ощущениях, хотя сам терпеть не могу таких людей. И потому, после первого взрыва сердечной радости, я тотчас начал предаваться различным соображениям. Отъехав с полверсты от дома отставного поручика, я в избытке восторга кинул шляпу на воздух и закричал: «Ура!» Но пока я тащился по длинным и кривым улицам Москвы, мысли мои понемногу приняли другой оборот. Разные довольно грязные сомнения завозились в моей душе. Я вспомнил свой разговор с Иваном Семенычем о свадьбах вообще... и невольно проговорил вполголоса: «Вишь, как прикидывался, старый плут!..» Правда, я беспрестанно твердил: «Но зато Варя моя! моя!..» Но, во-первых, это «но» — ох, это *но!*.. а во-вторых, слова: «Варя моя!» возбуждали во мне не глубокую, сокрушающую радость, а какой-то дюжинный, самолюбивый восторг... Если б Варя отказала мне наотрез, я бы запыхал истовую страстью; но, получив ее согласие, я походил на человека, который сказал гостю: «Будьте как дома», — и гость действительно начинает распоряжаться в его комнате, как у себя. «Если она любила Колосова, — думал я, — как же это она так скоро согласилась? Видно, она рада за кого-нибудь выйти замуж... Ну, что ж? тем лучше для меня...» Вот с какими смутными и странными чувствами я перешагнул порог своего дома. Вы, может быть, господа, находите мой рассказ неправдоподобным? Не знаю, похож ли он на истину, но знаю, что всё, что я вам сказал, совершенная и сущая правда. Впрочем, я весь этот день предавался лихорадочной веселости, говорил самому себе, что я просто не заслуживаю такого счастья; но на другое утро...

Удивительное дело — сон! Он не только возобновляет тело, он некоторым образом возобновляет душу, приводит ее к первобытной простоте и естественности. В течение дня вам удалось *настроить* себя, проникнуться ложью, ложными мыслями... Сон своей холодной волной смывает все эти мизерные дрязги, и, проснувшись, вы, по крайней мере на несколько мгновений, способны понимать и любить ис-

тину. Я пробудился и, размышляя о вчерашнем дне, чувствовал какую-то неловкость... мне как будто стало стыдно всех своих проделок. Я с невольным беспокойством думал о сегодняшнем посещении, об объяснении с Иваном Семенычем... Это беспокойство было мучительно и тоскливо; оно походило на беспокойство зайца, который слышит лай гончих и должен выйти, наконец, из родимого леса в поле... а в поле ждут его зубастые борзые... «К чему я торопился!» — повторил я так же, как и вчера, но уже совсем в другом смысле. Помню — эта страшная разница между вчерашним и сегодняшним днем меня самого поразила; в первый раз пришло мне в голову тогда, что в жизни человеческой скрываются тайны — странные тайны... С детским недоумением глядел я в этот новый, не фантастический, действительный мир. Под словом «действительность» многие понимают слово «пошлость». Может быть, оно иногда и так; но я должен сознаться, что первое появление *действительности* передо мною потрясло меня глубоко, испугало, поразило меня...

Какие громкие речи по поводу *невыйтанцевавшей* любви, говоря словами Гоголя!.. Возвращаюсь к своему рассказу. В течение того же утра я опять уверил себя, что я блаженнейший из смертных. Я поехал за город, к Ивану Семенычу. Он меня принял весьма радостно; хотел было пойти к соседу, но я сам его остановил. Я боялся остаться наедине с Варей. Этот вечер прошел весело, но не отраднo. Варя была ни то ни се, ни любезна, ни грустна... ни хороша собой, ни дурна. Я взирал на нее, как говорят философы, объективным оком, то есть как сытый человек смотрит на кушанья. Я нашел, что у ней руки немного красны. Впрочем, кровь иногда во мне разгоралась, и я, глядя на нее, предавался другим мечтам и замыслам. Давно ли я сделал так называемое предложение, и вот уже я чувствовал, что мы с ней живем супружеской жизнью... что наши души уже составляют одно *прекрасное целое*, принадлежат друг другу и, следовательно, стараются каждая сыскать для себя особую дорожку...

«Что ж? вы говорили с папенькой?» — сказала мне Варя, когда мы с ней остались наедине. Этот вопрос мне ужасно не понравился... я подумал про себя: «Больно изволите торопиться, Варвара Ивановна». «Нет еще-с, — отвечал я довольно сухо, — но поговорю». Вообще я обходился с ней несколько небрежно. Несмотря на свое обещание, я Ивану Семенычу ничего не сказал положительного. Уезжая, я значительно пожал его руку и объявил ему, что мне нужно с ним поговорить... вот и все... «Прощайте!» — сказал я Варе. «До свидания», — сказала она.

Я вас не стану долго томить, господа; боюсь истощить ваше терпение... Этого свидания не было. Я не вернулся более к Ивану Семенычу. Правда, первые дни моей добровольной разлуки с Варей не прошли без слез, упреков и волнений; я сам был испуган быстрым увяданием моей любви; я двадцать раз собирался ехать к ней, живо представлял себе ее изумление, горе, оскорбление, но — не вернулся к Ивану Семенычу. Я заочно просил у ней прощения, заочно становил-

ся перед ней на колени, уверял ее в своем глубоком раскаянии — и как-то раз, встретив на улице девушку, слегка похожую на нее, пустился бежать без оглядки и отдохнул только в кондитерской, за пятым слоеным пирожком. Слово «завтра» придумано для людей нерешительных и для детей; я, как ребенок, успокаивал себя этим волшебным словом. «Завтра я пойду к ней непременно», — говорил я самому себе — и отлично ел и спал сегодня. Я начал гораздо более думать о Колосове, чем о Варее... везде и беспрестанно видел я перед собой его открытое, смелое, беспечное лицо. Я стал снова ходить к нему. Он меня принял по-прежнему. Но как глубоко я чувствовал его превосходство надо мною! Как смешны показались мне все мои затеи: моя грустная задумчивость во время связи Колосова с Варей, моя великодушная решимость сблизить их снова, мои ожидания, мои восторги, мое раскаяние!.. Я разыграл плохую, крикливую и растянутую комедию, а он так просто, так хорошо прожил это время... Вы мне скажете: «Что ж тут удивительного? ваш Колосов полюбил девушку, потом разлюбил и бросил ее... Да это случалось со всеми...» Согласен; но кто из нас умел вовремя расстаться с своим прошедшим? Кто, скажите, кто не боится упреков, не говорю упреков женщины... упреков первого глупца? Кто из нас не поддавался желанию то щегольнуть великодушием, то себялюбиво поиграть с другим, преданным сердцем? Наконец, кто из нас в силах противиться мелкому самолюбию — *мелким хорошим чувствам*: сожалению и раскаянию?.. О, господа! человек, который расстается с женщиною, некогда любимой, в тот горький и великий миг, когда он невольно сознает, что его сердце не всё, не вполне проникнуто ею, этот человек, поверьте мне, лучше и глубже понимает святость любви, чем те малодушные люди, которые от скуки, от слабости продолжают играть на полупорванных струнах своих вялых и чувствительных сердец! В начале рассказа я вам сказывал, что мы все прозвали Андрея Колосова человеком необыкновенным. И если ясный, простой взгляд на жизнь, если отсутствие всякой фразы в молодом человеке может назваться вещью необыкновенной, Колосов заслужил данное ему имя. В известные лета быть естественным — значит быть необыкновенным... Однако пора кончить. Благодарю вас за внимание... Да! я забыл вам сказать, что месяца три после моего последнего посещения встретился я со старым плутом, Иваном Семенычем. Я, разумеется, постарался незаметно и скоро проскользнуть мимо его, но все-таки не мог не услышать следующих, с досадою произнесенных слов: «Ведь вот бывают же такие широмыжники!»

— А что случилось с Варей? — спросил кто-то.

— Не знаю, — отвечал рассказчик.

Мы все встали и разошлись.

БРЕТЁР

I

...ий кирасирский полк квартировал в 1829 году в селе Кириллове, К...ской губернии. Это село с своими избушками и скирдами, зелеными конопляниками и тощими ракетами издали казалось островом среди необозримого моря распаханых черноземных полей. Посреди села находился небольшой пруд, вечно покрытый гусиным пухом, с грязными, изрытыми берегами; во ста шагах от пруда, на другой стороне дороги, высился господский деревянный дом, давно пустой и печально подавшийся набок; за домом тянулся заброшенный сад; в саду росли старые, бесплодные яблони, высокие березы, усеянные вороньими гнездами; на конце главной аллеи, в маленьком домишке (бывшей господской бане) жил дряхлый дворецкий и, покрѣхывая да покашливая, каждое утро, по старой привычке, тащился через сад в барские покои, хотя в них нечего было стеречь, кроме дюжины белых кресел, обитых полинялым штофом, двух пузатых комодов на кривых ножках, с медными ручками, четырех дырявых картин и одного черного арапа из алебаstra с отбитым носом. Владелец этого дома, молодой и беспечный человек, жил то в Петербурге, то за границей — и совершенно позабыл о своем поместье. Оно досталось ему лет восемь тому назад от престарелого дяди, известного некогда всему околотку своими отличными наливками. Пустые темно-зеленые бутылки до сих пор еще валялись в кладовой вместе с разным хламом, скупо исписанными тетрадами в пестрых переплетах, старинными стеклянными люстрами, дворянским мундиром времен Екатерины, заржавевшей шпагой с стальной рукояткой и т. д. В одном из флигелей помещался сам полковник, человек женатый, высокого роста, скупой на слова, угрюмый и сонливый. В другом флигеле жил полковой адъютант, чувствительный и раздушенный человек, охотник до цветов и до бабочек. Общество гг. офицеров...го полка не отличалось от всякого другого общества. В числе их были хорошие и дурные, умные и пустые люди... Между ними некто Авдей Иванович Лучков, штабс-ротмистр, слыл бретёром. Лучков был роста небольшого, неказист; лицо имел малое, желтоватое, сухое, волосы жиденькие, черные, черты лица обыкновенные и темные глазки. Он рано остался сиротой, вырос в нужде и загоне. По целым неделям вел он себя тихо... и вдруг — словно бес ка-

кой им овладеет — ко всем пристаёт, всем надоедает, всем нагло смотрит в глаза; ну так и напрашивается на ссору. Впрочем, Авдей Иванович не чуждался своих сослуживцев, но в дружбе состоял с одним только раздушенным адъютантом; в карты не играл и не пил вина.

В мае 1829 года, незадолго до начатия учений, прибыл в полк молодой корнет Федор Федорович Кистер, русский дворянин немецкого происхождения, очень белокурый и очень скромный, образованный и начитанный. Он до двадцатилетнего возраста жил в родительском доме под крылышками матушки, бабушки и двух тетушек; поступил же в военную службу единственно по желанию бабушки, которая даже под старость не могла без волнения видеть белый султан... Он служил без особенной охоты, но с усердием, точно и добросовестно исполнял долг свой; одевался не щеголевато, но чисто и по форме. В первый же день своего приезда Федор Федорович явился к начальникам; потом начал устраивать свою квартиру. Он привез с собою дешевенькие обои, коврики, полочки и т. д., оклеил все стены, двери, наделал разных перегородок, велел вычистить двор, перестроил конюшню, кухню, отвел даже место для ванны... Целую неделю хлопотал он; зато любо было потом войти в его комнату. Перед окнами стоял опрятный стол, покрытый разными вещами; в углу находилась полочка для книг с бюстами Шиллера и Гёте; на стенах висели ландкарты, четыре греведоновские головки и охотничье ружье; возле стола стройно вышлся ряд трубок с исправными мундштуками; в сенях на полу лежал коврик; все двери запирались на замок; окна завешивались гардинами. Всё в комнате Федора Федоровича дышало порядком и чистотой. То ли дело у других товарищей! К иному едва проберешься через грязный двор; в сенях, за облупившимися парусинными ширмами, храпит денщик; на полу — гнилая солома; на плите — сапоги и доньшко банки, залитое ваксой; в самой комнате — покоробленный ломберный стол, исписанный мелом; на столе стаканы, до половины наполненные холодным темно-бурым чаем; у стены — широкий, проломленный, замасленный диван; на окнах — трубочный пепел... На неуклюжем и пухлом кресле восседает сам хозяин в шлафроке травяного цвета с малиновыми плисовыми отворотами и вышитой ермолке азиатского происхождения, а возле хозяина храпит безобразно толстый и негодный пес в вонючем медном ошейнике... Все двери всегда настежь...

Федор Федорович понравился своим новым товарищам. Они его полюбили за добродушие, скромность, сердечную теплоту и природную склонность ко «всему прекрасному» — словом, за всё то, что в другом офицере нашли бы, может быть, неуместным. Кистера прозвали красной девушкой и обращались с ним нежно и кротко. Один Авдей Иванович поглядывал на него косо. Однажды, после ученья, Лучков подошел к нему, слегка сжимая губы и расширяя ноздри.

— Здравствуйте, господин Кнастер.

Кистер взглянул на него с недоумением.

— Мое почтение, господин Кнастер, — повторил Лучков.

— Меня зовут Кистер, милостивый государь.

— Вот как-с, господин Кнастер.

Федор Федорович обернулся к нему спиной и пошел домой. Лучков с усмешкой посмотрел ему вслед.

На другой день он, тотчас после ученья, опять подошел к Кистеру.

— Ну, как вы поживаете, господин Киндербальзам?

Кистер вспыхнул и посмотрел ему прямо в лицо. Маленькие, желчные глазки Авдея Ивановича засветились злобной радостью.

— Я с вами говорю, господин Киндербальзам!

— Милостивый государь, — отвечал ему Федор Федорович, — я нахожу вашу шутку глупую и неприличную — слышите ли? глупую и неприличную.

— Когда мы деремся? — спокойно возразил Лучков.

— Когда вы хотите... хоть завтра.

На другое утро они дрались. Лучков легко ранил Кистера и, к крайнему удивлению секундантов, подошел к раненому, взял его за руку и попросил у него извиненья. Кистер просидел дома две недели; Авдей Иванович несколько раз заходил навестить больного, а по выздоровлении Федора Федоровича подружился с ним. Понравилась ли ему решительность молодого офицера, пробудилось ли в его душе чувство, похожее на раскаянье, — решить мудрено... но со времени поединка с Кистером Авдей Иванович почти не расставался с ним и называл его сперва Федором, потом и Федей. В его присутствии он делался иным человеком, и — странное дело! — не в свою выгоду. Ему не шло быть кротким и мягким. Сочувствия он все-таки возбуждать ни в ком не мог: уж такова была его судьба! Он принадлежал к числу людей, которым как будто дано право власти над другими; но природа отказала ему в дарованиях — необходимом оправдании подобного права. Не получив образования, не отличаясь умом, он не должен бы был разоблачаться; может быть, ожесточение в нем происходило именно от сознания недостатков своего воспитания, от желанья скрыть себя всего под одну неизменную личину. Авдей Иванович сперва заставлял себя презирать людей; потом заметил, что их пугнуть нетрудно, и действительно стал их презирать. Лучкову было весело прекращать одним появлением своим всякий не совсем пошлый разговор. «Я ничего не знаю и ничему не учился, да и способностей у меня нет, — думал он про себя, — так и вы ничего не знайте и не выказывайте своих способностей при мне...» Кистер, быть может, потому заставил Лучкова выйти, наконец, из своей роли, что до знакомства с ним бретёр не встретил ни одного человека действительно «идеального», то есть бескорыстно и добродушно занятого мечтами, а потому снисходительного и не самолюбивого.

Бывало, Авдей Иванович придет поутру к Кистеру, закурит трубку и тихонько присядет на кресла. Лучков при Кистере не стыдился своего невежества; он надеялся — и недаром — на его немецкую скромность.

— Ну, что? — начинал он. — Что вчера подельывал? Читал небось, а?

— Да, читал...

— А что ж такое читал? Расскажи-ка, братец, Расскажи-ка. — Авдей Иванович до конца придерживался насмешливого тона.

— Читал, брат, «Идиллию» Клейста. Ах, как хорошо! Позволь, я переведу тебе несколько строк. — И Кистер с жаром переводил, а Лучков, наморщив лоб и стиснув губы, слушал внимательно...

— Да, да, — твердил он поспешно, с неприятной улыбкой, — хорошо... очень хорошо... Я, помнится, это читал... хорошо.

— Скажи мне, пожалуйста, — прибавлял он протяжно и как будто нехотя, — какого ты мнения о Людовике Четырнадцатом?

И Кистер пускался толковать о Людовике XIV. А Лучков слушал, многого не понимал вовсе, иное понимал криво... и, наконец, решался сделать замечание... Его бросало в пот: «Ну, если я совру?» — думал он. И действительно, врал он часто, но Кистер никогда резко не возражал ему: добрый юноша душевно радовался тому, что вот, дескать, в человеке пробуждается охота к просвещению. Увы! Авдей Иванович расспрашивал Кистера не из охоты к просвещению, а так, бог знает отчего. Может быть, он желал сам удостовериться на деле, какая у него, Лучкова, голова: тупая, что ли, или только необделанная? «А я ведь в сущности глуп», — говорил он самому себе не раз с горькой усмешкой и вдруг выпрямлялся весь, нахально и дерзко глядел кругом и злобно улыбался, если замечал, что какой-нибудь товарищ опускал свой взгляд перед его взглядом. «То-то, брат, ученый, воспитанный... — шептал он сквозь зубы, — не хочешь ли... того?»

Господа офицеры недолго толковали о внезапной дружбе Кистера с Лучковым: они привыкли к странностям бретёра. «Связался же чёрт с младенцем!» — говорили они... Кистер повсюду с жаром хвалил своего нового приятеля: с ним не спорили, потому что боялись Лучкова; сам же Лучков никогда при других не упоминал имени Кистера, но перестал знаясь с раздушенным адъютантом.

II

Помещики южной России большие охотники давать балы, приглашать к себе на дом гг. офицеров и выдавать своих дочерей замуж. В десяти верстах от села Кириллова жил именно такой помещик, некто господин Перекатов, владелец четырехсот душ и довольно просторного дома. У него была дочь лет восемнадцати, Машенька, и жена, Ненила Макарьевна. Господин Перекатов служил некогда в кавалерии, но по любви к деревенской жизни, по лени вышел в отставку и начал жить себе потихоньку, как живут помещики средней руки. Ненила Макарьевна происходила не совершенно законным образом от знатного московского барина.

Покровитель ее воспитывал свою Ненилушку весьма, как говорится, тшательно, в собственном доме, но сбыл ее с рук довольно поспешно, по первому востребованию, как ненадежный товар. Ненила

Макарьевна была нехороша собой: знатный барин давал за ней всего тысяч десять приданого; она ухватилась за господина Перекатова. Господину Перекатову показалось весьма лестным жениться на барышне воспитанной, умной... ну, да, наконец, всё же состоявшей в родстве с знатным сановником. Сановник этот и после брака оказывал супругам свое покровительство, то есть принимал от них в подарок соленых перепелок и говорил Перекатову: «ты, братец», а иногда просто: «ты». Ненила Макарьевна совершенно завладела мужем, хозяйничала и распоряжалась всем именем — весьма, впрочем, умно; во всяком случае гораздо лучше самого господина Перекатова. Она не слишком притесняла своего сожителя, но держала его в руках, сама заказывала ему платье и наряжала его по-английски, как оно и прилично помещику; по ее приказанию господин Перекатов завел у себя на подбородке эспаньолку для прикрытия большой бородавки, похожей на переспелую малину; Ненила Макарьевна, с своей стороны, объявила гостям, что муж ее играет на флейте и что все флейтисты под нижней губой отпускают себе волосы: ловчее держать инструмент. Господин Перекатов с утра ходил в высоком чистом галстухе, причесанный и вымытый. Впрочем, он был своей судьбой весьма доволен: обедал всегда очень вкусно, делал что хотел и спал сколько мог. Ненила Макарьевна завела, как говорили соседи, у себя в доме «иностранный порядок»: держала мало людей, одевала их опрятно. Честолюбие ее мучило; она хотела попасть хоть в уездные предводительши, но дворяне...го уезда хоть и наедались у ней власть, однако ж все-таки выбирали не ее мужа, а то отставного премьер-майора Буркольца, то отставного секунд-майора Бурундюкова. Господин Перекатов казался им чересчур столичной штучкой.

Дочь господина Перекатова, Машенька, с лица походила на отца. Ненила Макарьевна много хлопотала над ее воспитанием. Она хорошо говорила по-французски, играла порядочно на фортепьянах. Она была среднего роста, довольно полна и бела; ее несколько пухлое лицо оживлялось доброй, веселой улыбкой; русые, не слишком густые волосы, карие глазки, приятный голосок — всё в ней тихо нравилось, и только. Зато отсутствие жеманства, предрассудков, начитанность, необыкновенная в степной девице, свобода выражений, спокойная простота речей и взглядов невольно в ней поражали. Она развилась на воле; Ненила Макарьевна не стесняла ее.

Однажды поутру, часов в двенадцать, всё семейство Перекатовых собралось в гостиную. Муж, в зеленом круглом фраке, высоком клетчатом галстухе и гороховых панталонах с штиблетами, стоял перед окном и с большим вниманием ловил мух. Дочь сидела за пяльцами; ее небольшая, полненькая ручка в черной митенке грациозно и медленно подымалась и опускалась над канвой. Ненила Макарьевна сидела на диване и молча посматривала на пол.

— Вы послали в...ий полк приглашение, Сергей Сергеич? — спросила она мужа.

— На сегодняшний вечер? Как же, ма шер, послал. (Ему запрещено было называть ее матушкой.) Как же!

— Совсем нет кавалеров, — продолжала Ненила Макарьевна. — Не с кем танцевать барышням.

Муж вздохнул, как будто отсутствие кавалеров его сокрушало.

— Маменька, — заговорила вдруг Маша, — мсьё Лучков приглашен?

— Какой Лучков?

— Он тоже офицер. Он, говорят, очень интересен.

— Как так?

— Да; он собой нехорош и немолод, но его все боятся. Он ужасный дуэлист. (Маменька слегка нахмурила брови.) Я бы очень желала его видеть...

Сергей Сергеевич перебил свою дочку.

— Что тут видеть, душа моя? Ты думаешь, он так и смотрит лордом Байроном? (В то время только что начинали у нас толковать о лорде Байроне.) Пустяки! Ведь и я, душа моя, в кои-то веки слыл забиякой.

Маша посмотрела с изумлением на родителя, засмеялась, потом вскочила и поцеловала его в щеку. Супруга слегка улыбнулась... а Сергей Сергеич не солгал.

— Не знаю, приедет ли этот господин, — промолвила Ненила Макарьевна. — Может быть, и он пожалует.

Дочка вздохнула.

— Смотри, не влюбись в него, — заметил Сергей Сергеич. — Я знаю, вы все такие теперь... того, восторженные...

— Нет, — простодушно возразила Маша.

Ненила Макарьевна холодно посмотрела на своего мужа. Сергей Сергеич с некоторым замешательством поиграл часовой цепочкой, взял со стола свою английскую, с широкими полями шляпу и отправился на хозяйство. Его собака робко и смиренно побежала вслед за ним. Как животное умное, она чувствовала, что и сам хозяин ее не слишком властный человек в доме, и вела себя скромно и осторожно.

Ненила Макарьевна подошла к дочери, тихонько подняла ей голову и ласково посмотрела ей в глаза. «Ты мне скажешь, когда ты влюбишься?» — спросила она.

Маша с улыбкой поцеловала руку матери и несколько раз утвердительно покачала головой.

— Смотри же, — заметила Ненила Макарьевна, погладила ее по щеке и вышла вслед за мужем. Маша прислонилась к спинке кресел, опустила голову на грудь, скрестила пальцы и долго глядела в окно, прищуриив глазки... Легкая краска заиграла на свежих ее щеках; со вздохом выпрямилась она, принялась было шить, уронила иголку, оперла лицо на руку и, легонько покусывая кончики ногтей, задумалась... потом взглянула на свое плечо, на свою протянутую руку, встала, подошла к зеркалу, усмехнулась, надела шляпу и пошла в сад.

В тот же вечер, часов в восемь, начали съезжаться гости. Г-жа Перекатова весьма любезно принимала и «занимала» дам, Машенька —

девиц; Сергей Сергеич толковал с помещиками о хозяйстве и то и дело взглядывал на жену. Начали появляться молодые франты, нарочно приехавшие попозже офицеры; наконец, вошел сам г-н полковник, в сопровождении своего адъютанта, Кистера и Лучкова. Он представил их хозяйке. Лучков молча поклонился; Кистер пробормотал обычное: «Весьма рад...» Г-н Перекатов подошел к полковнику, крепко пожал ему руку и с чувством посмотрел ему в глаза. Полковник немедленно насупился. Начались танцы. Кистер пригласил Машеньку. В то время процветал еще экосез.

— Скажите мне, пожалуйста, — сказала ему Маша, когда, проскакав раз двадцать до конца залы, они стали, наконец, в первые пары, — отчего ваш приятель не танцует?

— Какой приятель?

Маша концом веера указала на Лучкова.

— Он никогда не танцует, — возразил Кистер.

— Зачем же он приехал?

Кистер немного смешался.

— Он желал иметь удовольствие...

Машенька его перебила.

— Вы, кажется, недавно переведены в наш полк?

— В *ваш* полк, — заметил с улыбкой Кистер, — нет, недавно.

— Вы здесь не скучаете?

— Помилуйте... Я здесь нашел такое приятное общество... а природа!.. — Кистер пустился в описание природы. Маша слушала его, не поднимая головы. Авдей Иванович стоял в углу и равнодушно посматривал на танцующих.

— Сколько лет господину Лучкову? — спросила она вдруг.

— Лет... лет тридцать пять, я думаю, — возразил Кистер.

— Он, говорят, человек опасный... сердитый, — поспешно прибавила Маша.

— Он немного вспыльчив... но, впрочем, он очень хороший человек.

— Говорят, все его боятся?

Кистер засмеялся.

— А вы?

— Мы с ним приятели.

— В самом деле?

— Вам, вам, вам, — кричали им со всех сторон. Они встрепенулись и пустились опять скакать боком через всю залу.

— Ну, поздравляю тебя, — сказал Лучкову Кистер, подходя к нему после танца, — хозяйская дочь то и дело расспрашивала меня о тебе.

— Неужели? — презрительно возразил Лучков.

— Честный человек! А ведь она очень собой хороша; посмотри-ка.

— А какая из них она?

Кистер указал ему Машу.

— А! недурна! — И Лучков зевнул.

— Холодный человек! — воскликнул Кистер и побежал приглашать другую девицу.

Авдею Ивановичу очень понравилось известие, сообщенное Кистером, хоть он и зевнул, и даже громко зевнул. Возбуждать любопытство — сильно льстило его самолюбию; любовь он презирал — на словах... а внутренне чувствовал сам, что трудно и хлопотно заставить полюбить себя. Трудно и хлопотно заставить полюбить себя; но весьма легко и просто прикидываться равнодушным, молчаливым гордецом. Авдей Иванович был дурен собою и немолод; но зато пользовался страшной славой — и, следовательно, имел право рисоваться. Он привык к горьким и безмолвным наслаждениям угрюмого одиночества; не в первый раз обращал он на себя внимание женщин; иные даже старались сблизиться с ним, но он их отталкивал с ожесточенным упрямством; он знал, что не к лицу ему нежность (в часы свиданий, откровений он становился сперва неловким и пошлым, а потом, с досады, грубым до плоскости, до оскорбления); он помнил, что две-три женщины, с которыми он некогда знался, охладели к нему тотчас после первых мгновений ближайшего знакомства и сами с поспешностью удалились от него... а потому он и решился, наконец, оставаться загадкой и презирать то, в чем судьба отказала ему... Другого презрения люди вообще, кажется, не знают. Всякое откровенное, произвольное, то есть доброе, проявление страсти не шло к Лучкову; он должен был постоянно сдерживать себя, даже когда злился. Одному Кистеру не становилось гадко, когда Лучков заливался хохотом; глаза доброго немца сверкали благородной радостью сочувствия, когда он читал Авдею любимые страницы из Шиллера, а бретёр сидел перед ним, понурив голову, как волк...

Кистер танцевал до упаду. Лучков не покидал своего уголка, хмурил брови, изредка украдкой взглядывал на Машу — и, встретив ее взоры, тотчас придавал глазам своим равнодушное выражение. Маша раза три танцевала с Кистером. Восторженный юноша возбудил ее доверенность. Она довольно весело болтала с ним, но на сердце ей было неловко. Лучков занимал ее.

Загремела мазурка. Офицеры пустились подпрыгивать, топтать каблуками и подбрасывать плечами эполеты; статские тоже топали каблуками. Лучков всё не двигался с своего места и медленно следил глазами за мелькающими парами. Кто-то тронул его рукав... он оглянулся; его сосед указывал ему на Машу. Она стояла перед ним, не поднимая глаз, и протягивала ему руку. Лучков сперва посмотрел на нее с недоумением, потом равнодушно снял палаш, бросил шляпу на пол, неловко пробрался между кресел, взял Машу за руку — и пошел вдоль круга, без припрыжек и топаний, как бы нехотя исполняя неприятный долг... У Маши сильно билось сердце.

— Отчего вы не танцуете? — спросила она его, наконец.

— Я не охотник, — отвечал Лучков. — Где ваше место?

— Вон там-с.

Лучков довел Машу до ее стула, спокойно поклонился ей, спокойно вернулся в свой угол... но весело в нем шевельнулась желчь.

Кистер пригласил Машу.

— Какой ваш приятель странный!

— А он вас очень занимает... — сказал Федор Федорович, плутовски прищуривав свои голубые и добрые глаза.

— Да... он, должно быть, очень несчастлив.

— Он несчастлив? С чего вы это взяли? — И Федор Федорович засмеялся.

— Вы не знаете... Вы не знаете... — Маша важно покачала головой.

— Да как же мне не знать?..

Маша опять покачала головой и взглянула на Лучкова. Авдей Иванович заметил этот взгляд, пожал незаметно плечами и вышел в другую комнату.

III

Прошло несколько месяцев с того вечера. Лучков ни разу не был у Перекатовых. Зато Кистер посещал их довольно часто. Ненила Макарьевна его полюбила, но не она привлекала Федора Федоровича, Маша ему нравилась. Как человек неопытный и невыболтавший, он находил большое удовольствие в обмене чувств и мыслей и добродушно верил в возможность возвышенной и спокойной дружбы между молодым человеком и молодой девушкой.

Однажды тройка сытых и резвых лошадок примчала его к дому г-на Перекатова. День был летний, душный и знойный. Нигде ни облака. Синева неба по краям сгушалась до того, что глаз принимал ее за грозовую тучу. Дом, построенный г-м Перекатовым на летнее жительство с обыкновенной степной предусмотрительностью, был обращен окнами прямо на солнце. Ненила Макарьевна с утра велела затворить все ставни. Кистер вошел в гостиную, прохладную и полумрачную. Свет ложился длинными чертами по полу, короткими и частыми полосками по стенам. Семейство Перекатовых ласково встретило Федора Федоровича. После обеда Ненила Макарьевна отправилась на отдых к себе в спальню; г. Перекатов уместился в гостиной на диване; Маша села подле окна за пяльцы; Кистер против нее. Маша, не раскрывая пялец, слегка приложилась к ним грудью и подперла голову руками. Кистер начал ей что-то рассказывать; она слушала его без внимания, как будто ждала чего-то, изредка взглядывала на отца и вдруг протянула руку.

— Послушайте, Федор Федорович... да только говорите потише... папенька заснул.

Действительно, г-н Перекатов, по обыкновению, заснул, сидя на диване, закинув голову и раскрыв немного рот.

— Что вам угодно? — с любопытством спросил Кистер.

— Вы будете надо мной смеяться.

— Помилуйте!..

Маша опустила голову, так что только верхняя часть ее лица осталась не закрытой руками, и вполголоса, не без замешательства, спро-

сила Кистера: отчего он никогда не привезет с собой г-на Лучкова? Маша не в первый раз упоминала о нем после бала... Кистер молчал. Маша боязливо выглянула из-за переплетенных пальцев.

— Могу ли я откровенно сказать вам мое мнение? — спросил ее Кистер.

— Отчего же нет? разумеется.

— Мне кажется, Лучков произвел на вас большое впечатление!

— Нет! — отвечала Маша и нагнулась, как бы желая рассмотреть поближе узор; узкая золотая полоска света легла ей на волосы, — нет... но...

— Что но? — проговорил Кистер с улыбкой.

— Вот видите ли, — сказала Маша и приподняла вдруг голову, так что полоска пришлось ей прямо на глаза, — вот видите ли... он...

— Он вас занимает...

— Ну... да... — сказала Маша с расстановкой, покраснела, отвернула немного голову в сторону и в таком положении продолжала говорить, — в нем есть что-то такое... Ведь вот вы смеетесь надо мной, — прибавила она вдруг, быстро взглянув на Федора Федоровича.

Федор Федорович улыбался самой кроткой улыбкой.

— Я вам всё говорю, что только мне вздумается, — продолжала Маша, — я знаю, что вы мой... (она хотела было сказать «друг») хороший приятель.

Кистер наклонился. Маша помолчала и робко протянула ему руку; Федор Федорович почтительно пожал кончики ее пальцев.

— Он, должно быть, большой чудак, — заметила Маша и опять облокотилась на пальцы.

— Чудак?

— Конечно; он меня и занимает как чудак! — хитро прибавила Маша.

— Лучков — благородный, замечательный человек, — с важностью возразил Кистер. — Его не знают у нас в полку, не ценят, видят в нем только наружную сторону. Конечно, он жесточен, странен, нетерпелив, но сердце у него доброе.

Маша жадно слушала Федора Федоровича.

— Я его привезу к вам. Я скажу ему, что вас бояться нечего, что смешно ему дичиться... Я ему скажу... О! да я уже знаю, что сказать... То есть вы, однако ж, не думайте, чтоб я... — Кистер смешался; Маша тоже смешалась... — Да и, наконец, ведь он только вам так... нравится...

— Ну, конечно, как многие мне нравятся.

Кистер плутовски посмотрел на нее.

— Хорошо, хорошо, — промолвил он с довольным видом, — я вам его привезу...

— Да нет...

— Хорошо, я ж вам говорю, всё будет хорошо... Уж я устрою.

— Какой вы... — с улыбкой заметила Маша и погрозила на него.

Г-н Перекаатов зевнул и открыл глаза.

— А я, кажется, заснул, — пробормотал он с удивлением. Этот вопрос и это удивление повторялись каждый день. Маша с Кистером заговорили о Шиллере.

Однако ж Федору Федоровичу было не совсем ловко; в нем как будто шевельнулась зависть... и он благородно негодовал на себя. Ненила Макарьевна сошла в гостиную. Подали чай. Г-н Перекатов заставил свою собаку прыгнуть несколько раз через палку и объявил потом, что он сам ее всему выучил, причем собака учтиво вертела хвостом, облизывалась и моргала. Когда же, наконец, зной уменьшился и повеял вечерний ветерок, всё семейство Перекатовых отправилось гулять в березовую рощу. Федор Федорович беспрестанно взглядывал на Машу, как бы желая дать ей знать, что он исполнит ее поручение; Маше было и на себя досадно, и весело, и жутко. Кистер вдруг, ни с того ни с сего, заговорил довольно высокопарно о любви вообще, о дружбе... но, заметив наблюдательный и ясный взгляд Ненилы Макарьевны, так же внезапно переменял разговор.

Ярко и пышно зарделась заря. Перед березовой рощей расстился ровный и широкий луг. Маше вздумалось играть в горелки. Явились горничные, лакеи; г-н Перекатов стал с своей супругой, Кистер с Машей. Горничные бегали с подобострастными и легкими криками; камердинер г-на Перекатова осмелился разлучить Ненилу Макарьевну с ее супругом; одна горничная почтительно поддалась барину; Федор Федорович не расставался с Машей. Всякий раз, становясь на свое место, он ей говорил два-три слова; Маша, вся раскрасневшаяся от бега, с улыбкой слушала его, проводила рукой по волосам. После ужина Кистер уехал.

Ночь была тихая, звездная. Кистер снял фуражку. Он волновался; ему слегка щемило горло. «Да, — сказал он, наконец, почти вслух, — она его любит; я сблизю их; я оправдаю ее доверенность». Хотя еще ничто не доказывало явного расположения Маши к Лучкову, хотя, по собственным ее словам, он только возбуждал ее любопытство, но Кистер успел уже сочинить себе целую повесть, предписать себе свою обязанность. Он решился пожертвовать своим чувством — тем более, что «пока, кроме искренней привязанности, я ничего ведь не ощущаю», — думал он. Кистер действительно был в состоянии принести себя в жертву дружеству, признанному долгу. Он много читал и потому воображал себя опытным и даже проникательным; он не сомневался в истине своих предположений; он не подозревал, что жизнь бесконечно разнообразна и не повторяется никогда. Понемногу Федор Федорович пришел в восторг. Он с умилением начал думать о своем призвании. Быть посредником между любящей робкой девушкой и человеком, может быть, только потому ожесточенным, что ему ни разу в жизни не пришлось любить и быть любимым; сблизить их, растолковать им их же собственные чувства и потом удалиться, не дав никому заметить величия своей жертвы, — какое прекрасное дело! Несмотря на прохладу ночи, лицо доброго мечтателя пылало...

На другой день он рано поутру отправился к Лучкову.

Авдей Иванович, по обыкновению, лежал на диване и курил трубку. Кистер поздоровался с ним.

— Я был вчера у Перекатовых, — сказал он с некоторою торжественностью.

— А! — равнодушно возразил Лучков и зевнул.

— Да. Они прекрасные люди.

— В самом деле?

— Мы говорили о тебе.

— Много чести; с кем это?

— С стариками... и с дочерью.

— А! с этой... толстенькой?

— Она прекрасная девушка, Лучков.

— Ну да, все они прекрасны.

— Нет, Лучков, ты ее не знаешь. Я еще не встречал такой умной, доброй и чувствительной девицы.

Лучков запел в нос: «В гамбургской газете не ты ли читал, как в прошлом лете Миних победил...»

— Да я ж тебе говорю...

— Ты в нее влюблен, Федя, — насмешливо заметил Лучков.

— Совсем нет. И не думал.

— Федя, ты в нее влюблен!

— Что за вздор! Будто уж нельзя...

— Ты в нее влюблен, друг ты мой сердечный, таракан запечный, — протяжно запел Авдей Иванович.

— Эх, Авдей, как тебе не стыдно! — с досадой проговорил Кистер.

Со всяким другим Лучков тут-то и запел бы пуще прежнего: Кистер он не дразнил.

— Ну, ну, шпрехен зи дейч, Иван Андреич, — проворчал он вполголоса, — не сердись.

— Послушай, Авдей, — с жаром заговорил Кистер и сел подле него. — Ты знаешь, я тебя люблю. (У Лучкова покривилось лицо.) Но одно мне в тебе, признаюсь, не нравится... именно то, что ты ни с кем знаться не хочешь, всё дома сидишь, всякого сближения с хорошими людьми избегаешь. Ведь, наконец, есть же хорошие люди! Ну, положим, ты был обманут в жизни, ожесточился, что ли; не бросайся на шею каждому, но почему же тебе всех отвергать? Ведь этак ты и меня, пожалуй, когда-нибудь прогонишь.

Лучков хладнокровно продолжал курить.

— Оттого-то тебя никто и не знает... кроме меня; иной, пожалуй, бог весть что о тебе думает... Авдей! — прибавил Кистер после небольшого молчания, — ты в добродетель не веришь, Авдей?

— Как не верить... верю... — проворчал Лучков.

Кистер с чувством пожал ему руку.

— Мне хочется, — продолжал он тронутым голосом, — примирить тебя с жизнью. Ты у меня повеселеешь, расцветешь... именно расцветешь. Как я-то буду рад тогда! Только ты мне позволь распоряжаться иногда тобою, твоим временем. У нас сегодня — что? понедельник...

завтра вторник... в среду, да, в среду мы с тобой поедем к Перекаатовым. Они тебе так рады будут... и мы там весело время проведем... А теперь дай мне трубочку выкурить.

Авдей Иванович недвижно лежал на диване и глядел в потолок. Кистер закурил трубку, подошел к окну и стал барабанить пальцами по стеклам.

— Так говорили обо мне? — спросил вдруг Авдей.

— Говорили, — значительно возразил Кистер.

— Что ж такое говорили?

— Ну, уж говорили. Весьма желают с тобой познакомиться.

— Кто же именно?

— Вишь, какой любопытный!

Авдей кликнул слугу и приказал седлать себе лошадь.

— Куда ты?

— В манеж.

— Ну, прощай. Так едем, что ли, к Перекаатовым?

— Едем, пожалуй, — лениво проговорил Лучков и потянулся.

— Молодец! — воскликнул Кистер, вышел на улицу, задумался и глубоко вздохнул.

IV

Маша подходила к дверям гостиной, когда доложили о приезде гг. Кистера и Лучкова. Она тотчас вернулась в свою комнату, подошла было к зеркалу... Ее сердце сильно билось. Девушка пришла позвать ее в гостиную. Маша выпила немного воды, остановилась раза два на лестнице и, наконец, сошла вниз. Г-на Перекаатова дома не было. Ненила Макарьевна сидела на диване; Лучков сидел на креслах, в мундире, с шляпой на коленях; Кистер возле него. Оба они приподнялись при входе Маши — Кистер с обычной дружелюбной улыбкой, Лучков с торжественным и натянутым видом. Она с смущением поклонилась им и подошла к матери. Первые десять минут прошли благополучно. Маша отдохнула и начала понемногу наблюдать за Лучковым. Он отвечал на расспросы хозяйки коротко, но беспокойно; он робел, как все самолюбивые люди. Ненила Макарьевна предложила гостям погулять по саду, а сама вышла только на балкон. Она не считала необходимостью не спускать глаз с дочки и ковылять за нею всюду с толстым ридикулем в руках по примеру многих степных матерей. Прогулка продолжалась довольно долго. Маша говорила больше с Кистером, но не смела взглянуть ни на него, ни на Лучкова. Авдей Иванович с ней не заговаривал; в голосе Кистера заметно было волнение. Он что-то много смеялся и болтал... Они подошли к речке. В сажени от берега росла водяная лилия и словно покоилась на гладкой поверхности воды, устланной широкими и круглыми листьями.

— Какой красивый цветок! — заметила Маша.

Не успела она выговорить этих слов, как уже Лучков вынул палаш, схватился одной рукой за тонкие ветки ракиты и, нагнувшись всем телом над водой, сшиб головку цветка. «Здесь глубоко, берегитесь!» — с испугом вскрикнула Маша. Лучков концом палаша пригнал цветок к берегу, к самым ее ногам. Она наклонилась, подняла цветок и с нежным, радостным удивлением поглядела на Авдея. «Браво!» — закричал Кистер. «А я не умею плавать...» — отрывисто проговорил Лучков. Это замечание не понравилось Маше. «Зачем он это сказал?» — подумала она.

Лучков с Кистером остались у г-на Перекатова до вечера. Что-то новое, небывалое происходило в душе Маши; задумчивое недоумение изображалось не раз на лице ее. Она как-то двигалась медленнее, не вспыхивала от взглядов матери, — напротив, сама как будто их искала, как будто сама вопрошала ее. В продолжение всего вечера Лучков оказывал ей какое-то неловкое внимание; но даже эта неловкость нравилась ее невинному тщеславию. Когда ж они оба уехали с обещанием побывать опять на днях, она тихонько пошла в свою комнату и долго, как бы с изумлением, глядела кругом. Ненила Макарьевна пришла к ней, поцеловала и обняла ее, по обыкновению. Маша раскрыла губы, хотела было заговорить с матерью — и не сказала ни слова. Она и хотела признаться, да не знала в чем. В ней тихо бродила душа. На ночном столике, в чистом стакане, лежал на воде цветок, сорванный Лучковым, Уж в постели Маша приподнялась осторожно, оперлась на локоть, и ее девственные губы тихо прикоснулись белых и свежих лепестков...

— Ну, что? — спросил на другой день Кистер своего товарища, — нравятся тебе Перекатовы? Прав я был? а? скажи!

Лучков не отвечал.

— Нет, скажи, скажи.

— А право, не знаю.

— Ну полно!

— Эта... как бишь ее зовут... Машенька — ничего, недурна.

— Ну, вот видишь... — сказал Кистер — и замолчал.

Дней через пять Лучков сам предложил Кистеру съездить к Перекатовым. Один он бы к ним не поехал; в отсутствие Федора Федоровича ему бы пришлось вести разговор, а этого он не умел и избегал по возможности.

Во второй приезд обоих друзей Маша была гораздо развязнее. Она теперь втайне радовалась тому, что не обеспокоила маменьки непрошеным признанием. Авдей перед обедом вызвался сесть на молодую, необъезженную лошадь и, несмотря на ее бешеные скачки, укротил ее совершенно. Вечером он было расходился, пустился шутить и хохотать — и хотя скоро опомнился, однако ж успел произвести мгновенное неприятное впечатление на Машу. Она сама еще не знала, какое именно чувство в ней возбуждал Лучков, но всё, что в нем ей не нравилось, приписывала она влиянию несчастий, одиночества.

V

Прятели начали часто посещать Перекатовых. Положение Кистера становилось более и более тягостным. Он не раскаивался... нет, но желал по крайней мере сократить время своего искуса. Привязанность его к Маше увеличивалась с каждым днем; она сама к нему благоволила; но быть всё только посредником, наперсником, даже другом — такое тяжелое, неблагодарное ремесло! Холодно-восторженные люди много толкуют о святости страданий, о блаженстве страданий... но теплому, простому сердцу Кистера они не доставляли никакого блаженства. Наконец, однажды, когда Лучков, уже совсем одетый, зашел за ним и коляска подъехала к крыльцу, — Федор Федорович, к изумлению приятеля, объявил ему напрямик, что остается дома. Лучков просил, досадовал, сердился... Кистер отговорился головной болью. Лучков отправился один.

Бретёр во многом изменился в последнее время. Товарищей он оставлял в покое, к новичкам не приставал и хотя не расцвел душою, как предсказал ему Кистер, однако действительно поуспокоился. Его и прежде нельзя было назвать разочарованным человеком — он почти ничего не видал и не испытал — и потому не диво, что Маша занимала его мысли. Впрочем, сердце его не смягчилось; только желчь в нем угомонилась. Чувства Маши к нему были странного рода. Она почти никогда не глядела ему прямо в лицо; не умела разговаривать с ним... Когда ж им случалось оставаться вдвоем, Маше становилось страх неловко. Она принимала его за человека необыкновенного и робела перед ним, волновалась, воображала, что не понимает его, не заслуживает его доверенности; безотрадно, тяжело — но беспрестанно думала о нем. Напротив, присутствие Кистера облегчало ее и располагало к веселости, хотя не радовало ее и не волновало; с ним она могла болтать по часам, опираясь на руку его, как на руку брата, дружелюбно глядела ему в глаза, смеялась от его смеха — и редко вспоминала о нем. В Лучкове было что-то загадочное для молодой девушки; она чувствовала, что душа его темна, «как лес», и силилась проникнуть в этот таинственный мрак... Так точно дети долго смотрят в глубокий колодезь, пока разглядят, наконец, на самом дне неподвижную, черную воду.

При входе Лучкова, одного, в гостиную Маша сперва испугалась... но потом обрадовалась. Ей уже не раз казалось, что между Лучковым и ею существует какое-то недоразумение, что он до сих пор не имел случая высказаться. Лучков сообщил причину отсутствия Кистера; старики изъявили свое сожаление: но Маша с недоверчивостию глядела на Авдея и томилась ожиданием. После обеда они остались одни; Маша не знала, что сказать, села за фортепьяно; пальцы ее торопливо и трепетно забегали по клавишам; она беспрестанно останавливалась и ждала первого слова... Лучков не понимал и не любил музыки. Маша заговорила с ним о Россини (Россини только что входил тогда в моду), о Моцарте... Авдей Иванович отвечал: «да-с, нет-с, как же-с, прекрасно», — и только. Маша заиграла блестящие вариации на россиниев-

скую тему. Лучков слушал, слушал... и когда, наконец, она обратилась к нему, лицо его выражало такую нелицемерную скуку, что Маша тотчас же вскочила и захлопнула фортепьяно. Она подошла к окну и долго глядела в сад; Лучков не трогался с места и всё молчал. Нетерпение начинало сменять робость в душе Маши. «Что ж? — думала она, — не хочешь... или не можешь?» Очередь робеть была за Лучковым. Он ощущал опять обычную томительную неуверенность: он уже злился!.. «Чёрт же меня дернул связаться с девчонкой», — бормотал он про себя... А между тем как легко было в это мгновение тронуть сердце Маши! Что бы ни сказал такой необыкновенный, хотя и странный человек, каким она воображала Лучкова, — она бы всё поняла, всё извинила, всему бы поверила. Но это тяжелое, глупое молчание! Слезы досады наворачивались у ней на глаза. «Если он не хочет объясниться, если я точно не стою его доверенности, зачем же ездит он к нам? Или, может быть, я не умею заставить его высказаться?..» И она быстро обернулась и так вопросительно, так настойчиво взглянула на него, что он не мог не понять ее взгляда, не мог долее молчать...

— Марья Сергеевна, — произнес он запинаясь, — я... у меня... я вам должен что-то сказать...

— Говорите, — быстро возразила Маша.

Лучков нерешительно посмотрел кругом.

— Я теперь не могу...

— Отчего же?

— Я бы желал поговорить с вами... наедине...

— Мы и теперь одни.

— Да... но... здесь в доме...

Маша смутилась... «Если я откажу ему, — подумала она, — всё кончено...» Любопытство погубило Еву...

— Я согласна, — сказала она, наконец.

— Когда же? Где?

Маша дышала быстро и неровно...

— Завтра... вечером. Вы знаете рожицу над Долгим лугом?..

— За мельницей?

Маша кивнула головой.

— В котором часу?

— Ждите...

Больше она не могла ничего выговорить; голос ее перервался... она побледнела и проворно вышла из комнаты.

Через четверть часа г-н Перекатов, с свойственной ему любезностью, провожал Лучкова до передней, с чувством жал ему руку и просил «не забывать»; потом, отпустив гостя, с важностью заметил человеку, что не худо бы ему остричься, — и, не дождавшись ответа, с озабоченным видом вернулся к себе в комнату, с тем же озабоченным видом присел на диван и тотчас же невинно заснул.

— Ты что-то бледна сегодня, — говорила Ненила Макарьевна своей дочери вечером того же дня. — Здорова ли ты?

— Я здорова, маменька.

Ненила Макарьевна поправила у ней на шее косынку.

— Ты очень бледна; посмотри на меня, — продолжала она с той материнской заботливостью, в которой все-таки слышится родительская власть, — ну, вот и глаза твои невеселы. Ты нездорова, Маша.

— У меня голова немного болит, — сказала Маша, чтоб как-нибудь отделаться.

— Ну вот, я знала, — Ненила Макарьевна положила ладонь ко лбу Маши, — однако жару в тебе нет.

Маша нагнулась и подняла с полу какую-то нитку.

Руки Ненилы Макарьевны тихо легли вокруг тонкого стана Маши.

— Ты что-то как будто бы мне сказать хочешь, — ласково проговорила она, не распуская рук.

Маша внутренне вздрогнула.

— Я? нет, маменька.

Мгновенное смущение Маши не ускользнуло от родительского внимания.

— Право, хочешь... Подумай-ка.

Но Маша успела оправиться и, вместо ответа, со смехом поцеловала руку матери.

— И будто нечего тебе сказать мне?

— Ну право же, нечего.

— Я тебе верю, — возразила Ненила Макарьевна после непродолжительного молчания. — Я знаю, у тебя нет ничего от меня скрытного... Не правда ли?

— Конечно, маменька.

Маша, однако ж, не могла не покраснеть немного.

— И хорошо делаешь. Грешно было бы тебе скрываться от меня. Ты ведь знаешь, как я тебя люблю, Маша.

— О да, маменька!

И Маша прижалась к ней.

— Ну, полно, довольно. (Ненила Макарьевна прошла по комнате.) Ну, скажи же мне, — продолжала она голосом человека, который чувствует, что вопрос его не имеет никакого особенного значения, — о чем ты сегодня разговаривала с Авдеем Иванычем?

— С Авдеем Иванычем? — спокойно повторила Маша. — Да так, обо всем...

— Что, он тебе нравится?

— Как же, нравится.

— А помнишь, как ты желала с ним познакомиться, как волновалась?

Маша отвернулась и засмеялась.

— Какой он странный! — добродушно заметила Ненила Макарьевна.

Маша хотела было заступиться за Лучкова, да прикусила язычок.

— Да, конечно, — проговорила она довольно небрежно, — он чудак, но всё же он хороший человек!

— О да!.. Что Федор Федорыч не приехал?

— Видно, нездоров. Ах да! кстати: Федор Федорыч хотел мне подарить собачку... Ты мне позволишь?

— Что? принять его подарок?

— Да.

— Разумеется.

— Ну, благодарствуй, — сказала Маша, — вот благодарствуй!

Ненила Макарьевна дошла до двери и вдруг вернулась назад.

— А помнишь ты свое обещание, Маша?

— Какое?

— Ты хотела мне сказать, когда влюбишься.

— Помню.

— Ну, что ж?.. Еще не время? (Маша звонко рассмеялась.) Посмотри-ка мне в глаза.

Маша ясно и смело взглянула на свою мать.

«Не может быть! — подумала Ненила Макарьевна и успокоилась. — Где ей меня обмануть!.. И с чего я взяла?.. Она еще совершенный ребенок...»

Она ушла...

«А ведь это грех», — подумала Маша.

VI

Кистер лег уже спать, когда Лучков вошел к нему в комнату. Лицо бретёра никогда не выражало *одного* чувства; так и теперь: притворное равнодушие, грубая радость, сознание своего превосходства... множество различных чувств разыгрывалось в его чертах.

— Ну, что? ну, что? — торопливо спросил его Кистер.

— Ну, что! Был. Тебе кланяются.

— Что? они все здоровы?

— Что им делается!

— Спрашивали, отчего я не приехал?

— Спрашивали, кажется.

Лучков поглядел в потолок и запел фальшиво. Кистер опустил глаза и задумался.

— А ведь вот, — хриплым и резким голосом промолвил Лучков, — вот ты умный человек, ты ученый человек, а ведь тоже иногда, с позволения сказать, дичь порешь.

— А что?

— А вот что. Например, насчет женщин. Ведь уж как ты их превозносишь! Стихи о них читаешь! Все они у тебя ангелы... Хороши ангелы!

— Я женщин люблю и уважаю, но...

— Ну, конечно, конечно, — перебил его Авдей. — Я ведь с тобой не спорю. Где мне! Я, разумеется, человек простой.

— Я хотел сказать, что... Однако почему ты именно сегодня... именно теперь... заговорил о женщинах?

— Так! — Авдей значительно улынулся. — Так!

Кистер пронзительно поглядел на своего приятеля. Он подумал (чистая душа!), что Маша дурно с ним обошлась; пожалуй, помучила его, как одни женщины умеют мучить...

— Ты огорчен, мой бедный Авдей; признайся...

Лучков расхохотался.

— Ну, огорчаться мне, кажется, нечем, — промолвил он с расстановкой, самодовольно разглаживая усы. — Нет, вот видишь ли что, Федя, — продолжал он тоном наставника, — я хотел тебе только заметить, что ты насчет женщин ошибаешься, друг мой. Поверь мне, Федя, они все на одну стать. Стоит похлопотать немного, повертеться около них — и дело в шляпе. Вот хоть бы Маша Перекатова...

— Ну!

Лучков постучал ногой об пол и покачал головой.

— Кажется, что во мне такого особенного и привлекательного, а? Кажется, ничего. Ведь ничего? А вот завтра мне назначено свиданье.

Кистер приподнялся, оперся на локоть и с изумлением посмотрел на Лучкова.

— Вечером, в роше... — спокойно продолжал Авдей Иванович. — Но ты не думай чего-нибудь такого. Я только так. Знаешь — скучно. Девочка хорошенькая... ну, думаю, что за беда? Жениться-то я не жёнюсь... а так, тряхну стариной. Бабиться не люблю — а девчонку потешить можно. Вместе слушаем соловьев. Это — по-настоящему твое дело; да вишь, у этого бабья глаз нету. Чтó я, кажись, перед тобой?

Лучков говорил долго. Но Кистер его не слушал. У него голова пошла кругом. Он бледнел и проводил рукою по лицу. Лучков покачивался в креслах, жмурился, потягивался — и, приписывая ревности волнение Кистера, чуть не задышался от удовольствия. Но Кистера мучила не ревность: он был оскорблен не самим признанием, но грубой небрежностью Авдея, его равнодушным и презрительным отзывом о Маше. Он продолжал пристально глядеть на бретёра — и, казалось, в первый раз хорошенько рассмотрел его черты. Так вот из чего хлопотал он! Вот для чего жертвовал собственной наклонностью! Вот оно, благодатное действие любви!

— Авдей... разве ты ее не любишь? — пробормотал он, наконец.

— О невинность! о Аркадия! — с злобным хохотом возразил Авдей.

Добрый Кистер и тут не поддался: «Может быть, — думал он, — Авдей злится и «ломается» по привычке... он не нашел еще новых слов для выражения новых ощущений. Да и в нем самом — в Кистере — не скрывается ли другое чувство под негодованием? Не оттого ли так неприятно поразило его признание Лучкова, что дело касалось Маши? Почему знать, может быть, Лучков действительно в нее влюблен?.. Но нет! нет! тысячу раз нет! Этот человек влюблен?.. Гадок этот человек с своим желчным и желтым лицом, с своими судорожными и кошачьими движениями, с приподнятым от радости горлом... гадок! Нет, не такими словами высказал бы Кистер преданному другу тайну любви своей... В избытке счастья, с немым восторгом, с светлыми, обильными слезами на глазах прижался бы он к его груди...»

— Что, брат? — говорил Авдей, — не ожидал, признайся? и теперь самому досадно? а? завидно? признайся, Федя! а? а? Ведь из-под носу подтибрил у тебя девчонку!

Кистер хотел было высказаться, но отвернулся лицом к стене. «Объясняться... перед ним? Ни за что! — шептал он про себя. — Он меня не понимает... пусть! Он предполагает во мне одни дурные чувства — пусть!..»

Авдей встал.

— Я вижу, ты спать хочешь, — проговорил он с притворным участием, — я тебе не хочу мешать. Спи спокойно, друг мой... спи!

И Лучков вышел, весьма довольный собою.

Кистер не мог заснуть до зари. Он с лихорадочным упрямством перевертывал и передумывал одну и ту же мысль — занятие, слишком известное несчастным любовникам; оно действует на душу, как мехи на тлеющий уголь.

«Если даже, — думал он, — Лучков к ней равнодушен, если она сама бросилась ему на шею, все-таки не должен он был даже со мной, с своим другом, так непочтительно, так обидно говорить о ней! Чем она виновата? Как не пожалеть бедной, неопытной девушки?»

Но неужели она ему назначила свидание? Назначила — точно назначила. Авдей не лжет; он никогда не лжет. Но, может быть, это в ней так, одна фантазия...

Но она его не знает... Он в состоянии, пожалуй, оскорбить ее. После сегодняшнего дня я ни за что не отвечаю... А не сами ли вы, господин Кистер, его расхваливали и превозносили? Не сами ли вы возбуждали ее любопытство?.. Но кто ж это знал? Кто это мог предвидеть?..

Что предвидеть? Давно ли он перестал быть моим другом?.. Да полно, был ли он когда моим другом? Какое разочарование! Какой урок!»

Всё прошедшее вихрем крутилось перед глазами Кистера. «Да, я его любил, — прошептал он, наконец. — Отчего же я разлюбил его? Так скоро?.. Да разлюбил ли я его? Нет, отчего полюбил я его? Я один?»

Любящее сердце Кистера оттого именно и привязалось к Авдею, что все другие его чуждались. Но добрый молодой человек не знал сам, как велика его доброта.

«Мой долг, — продолжал он, — предупредить Марию Сергеевну. Но как? Какое право имею я вмешиваться в чужие дела, в чужую любовь? Почему я знаю, какого рода эта любовь? Может быть, и в самом Лучкове...» — Нет! нет! — говорил он вслух, с досадой, почти со слезами, поправляя подушки, — этот человек камень...

Я сам виноват... я потерял друга... Хорош друг! Хороша и она!.. Какой я гадкий эгоист! Нет, нет!! от глубины души желаю им счастья... Счастья! Да он смеется над ней!.. И зачем он себе усы красит? Уж, право, кажется... Ах, как я смешон! — твердил он засыпая.

VII

На другой день, утром, Кистер поехал к Перекатовым. При свидании — и Кистер заметил большую перемену в Маше, и Маша нашла в нем перемену; но промолчали оба. Всё утро им было, против обыкно-

вения, неловко. Дома Кистер приготовил было множество двусмысленных речей и намеков, дружеских советов... но все эти приготовления оказались совершенно бесполезными. Маша смутно чувствовала, что Кистер за ней наблюдает; ей казалось, что он с намерением значительно произносит иные слова; но она также чувствовала в себе волнение и не верила своим наблюдениям. «Как бы он не вздумал остаться до вечера!» — беспрестанно думала она и старалась дать ему понять, что он лишний. С своей стороны, Кистер принимал ее неловкость, ее тревогу за очевидные признаки любви, и чем более он за нее боялся, тем менее решался говорить о Лучкове; а Маша упорно молчала о нем. Тяжело было бедному Федору Федоровичу. Он начинал, наконец, понимать собственные чувства. Никогда Маша ему не казалась милей. Она, видимо, не спала во всю ночь. Легкий румянец пятнами выступал на ее бледном лице; стан слегка сгибался, невольная томная улыбка не сходила с губ; изредка пробегала дрожь по ее побледневшим плечам; взгляды тихо разгорались и быстро погасали... Ненила Макарьевна под села к ним и, может быть, с намерением упомянула об Авдее Ивановиче. Но Маша в присутствии матери вооружилась *jusqu'aux dents*¹, как говорят французы, и не выдала себя нисколько. Так прошло всё утро.

— Вы обедаете у нас? — спросила Ненила Макарьевна Кистера. Маша отвернулась.

— Нет, — поспешно произнес Кистер и взглянул на Машу. — Вы меня извините... обязанности службы...

Ненила Макарьевна изъявила свое сожаление, как водится; вслед за ней изъявил что-то г. Перекаатов. «Я никому не хочу мешать, — хотел сказать Кистер Маше, проходя мимо, но вместо того наклонился, шепнул: — Будьте счастливы... прощайте... берегитесь...» — и скрылся.

Маша вздохнула от глубины души, а потом испугалась его отъезда. Что же ее мучило? любовь или любопытство? Бог знает; но, повторяем, одного любопытства достаточно было, чтобы погубить Еву.

VIII

Долгим лугом называлась широкая и ровная поляна на правой стороне речки Снежинки, в версте от имения гг. Перекаатовых. Левый берег, весь покрытый молодым густым дубняком, круто возвышался над речкой, почти заросшей лозниками, исключая небольших «заводей», пристанища диких уток. В полуверсте от речки, по правую же сторону Долгого луга, начинались покатые, волнистые холмы, редко усеянные старыми березами, кустами орешника и калины.

Солнце садилось. Мельница шумела и стучала вдали, то громче, то тише, смотря по ветру. Господский табун лениво бродил по лугу; пастух шел, напевая, за стадом жадных и пугливых овец; сторожевые собаки со скуки гнались за воронами. По роще ходил, скрестя руки,

¹ до зубов (*франц.*).

Лучков. Его привязанная лошадь уже не раз отозвалась нетерпеливо на звонкое ржание жеребят и кобыл. Авдей злился и робел, по обыкновению. Еще не уверенный в любви Маши, он уже сердился на нее, досадовал на себя... но волнение в нем заглушало досаду. Он остановился, наконец, перед широким кустом орешника и начал хлыстиком сбивать крайние листья...

Ему послышался легкий шум... он поднял голову... В десяти шагах от него стояла Маша, вся покрасневшая от быстрой ходьбы, в шляпке, но без перчаток, в белом платье, с наскоро завязанным платочком на шее. Она проворно опустила глаза и тихо покачнулась...

Авдей неловко и с натянутой улыбкой подошел к ней.

— Как я счастлив... — начал было он едва внятно.

— Я очень рада... вас встретить... — задыхаясь перебила его Маша. — Я обыкновенно гуляю здесь по вечерам... и вы...

Но Лучков не умел даже пощадить ее стыдливость, поддержать ее невинную ложь.

— Кажется, Марья Сергеевна, — промолвил он с достоинством, — вам самим угодно было...

— Да... да... — торопливо возразила Маша. — Вы желали меня видеть, вы хотели... — Голос ее замер.

Лучков молчал. Маша робко подняла глаза.

— Извините меня, — начал он, не глядя на нее, — я человек простой и не привык объясняться... с дамами... Я... я желал вам сказать... но, кажется, вы не расположены меня слушать...

— Говорите...

— Вы приказываете... Ну, так скажу вам откровенно, что уже давно, с тех пор как я имел честь с вами познакомиться...

Авдей остановился. Маша ждала конца речи.

— Впрочем, я не знаю, для чего это всё вам говорю... Своей судьбы не переменишь...

— Почему знать...

— Я знаю! — мрачно возразил Авдей. — Я привык встречать ее удары!

Маше показалось, что теперь по крайней мере не следовало Лучкову жаловаться на судьбу.

— Есть добрые люди на свете, — с улыбкой заметила она, — даже слишком добрые...

— Я понимаю вас, Марья Сергеевна, и, поверьте, умею ценить ваше расположение... Я... я... Вы не рассердитесь?

— Нет... Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать... что вы мне нравитесь, Марья Сергеевна, чрезвычайно нравитесь...

— Я очень вам благодарна, — с смущением перебила его Маша; сердце ее сжалось от ожидания и страха. — Ах, посмотрите, господин Лучков, — продолжала она, — посмотрите, какой вид!

Она указала ему на луг, весь испещренный длинными, вечерними тенями, весь алеющий на солнце.

Внутренне обрадованный внезапной переменой разговора, Лучков начал «любоваться» видом. Он стал подле Маши...

— Вы любите природу? — спросила она вдруг, быстро повернув голову и взглянув на него тем дружелюбным, любопытным и мягким взглядом, который, как звенящий голосок, дается только молодым девушкам.

— Да... природа... конечно... — пробормотал Авдей. — Конечно... вечером приятно гулять, хотя, признаться, я солдат, и нежности не по моей части.

Лучков часто повторял, что он «солдат». Настало небольшое молчание. Маша продолжала глядеть на луг.

«Не уйти ли? — подумал Авдей. — Вот вздор! Смелей!..» — Марья Сергеевна... — заговорил он довольно твердым голосом.

Маша обернулась к нему.

— Извините меня, — начал он как бы шутя, — но позвольте, с моей стороны, узнать, что вы думаете обо мне, чувствуете ли какое-нибудь... этакое... расположение к моей особе?

«Боже мой, как он неловок!» — сказала про себя Маша. — Знаете ли вы, господин Лучков, — отвечала она ему с улыбкой, — что не всегда легко дать решительный ответ на решительный вопрос?

— Однако...

— Да на что вам?

— Да я, помилуйте, желаю знать...

— Но... Правда ли, что вы большой дуэлист? Скажите, правда ли? — промолвила Маша с робким любопытством. — Говорят, вы уже не одного человека убили?

— Случалось, — равнодушно возразил Авдей и погладил усы.

Маша пристально посмотрела на него.

— Вот этой рукой... — прошептала она.

Между тем кровь разгорелась в Лучкове. Уже более четверти часа молодая, хорошенькая девушка вертелась перед ним...

— Марья Сергеевна, — заговорил он опять резким и странным голосом, — вы теперь знаете мои чувства, знаете, зачем я желал вас видеть... Вы были столько добры... Скажите же и вы мне, наконец, чего я могу надеяться...

Маша вертела в руках полевую гвоздику... Она взглянула сбоку на Лучкова, покраснела, улыбнулась, сказала: «Какие вы пустяки говорите», — и подала ему цветок.

Авдей схватил ее за руку.

— Итак, вы меня любите! — воскликнул он.

Маша вся похолодела от испуга. Она не думала признаваться Авдею в любви; она сама еще наверное не знала, любит ли она его, и вот уж он ее предупреждает, насильно заставляет высказаться — стало быть, он ее не понимает... Эта мысль быстрее молнии сверкнула в голове Маши. Она никак не ожидала такой скорой развязки... Маша, как любопытный ребенок, целый день себя спрашивала: «Неужели Лучков меня любит?», мечтала о приятной вечерней прогулке, почти-тельных и нежных речах, мысленно кокетничала, приучала к себе дикаря, позволяла при прощанье поцеловать свою руку... и вместо того...

Вместо того она вдруг почувствовала у себя на щеке жесткие усы Авдея...

— Будемте счастливы, — шептал он, — ведь только есть одно счастье на земле!..

Маша вздрогнула, с ужасом отбежала в сторону и, вся бледная, остановилась, опираясь рукой о березу. Авдей смешался страшно.

— Извините меня, — бормотал он, подвигаясь к ней, — я, право, не думал...

Маша молча, во все глаза, глядела на него... Неприятная улыбка кривила его губы... красные пятна выступили на его лице...

— Чего же вы боитесь? — продолжал он, — велика важность! Ведь между нами уже всё... того...

Маша молчала.

— Ну, полноте!.. что за глупости? это только так...

Лучков протянул к ней руку...

Маша вспомнила Кистера, его «берегитесь», замерла от страха и довольно визгливым голосом закричала:

— Танюша!

Из-за орехового куста вынырнуло круглое лицо горничной... Авдей потерялся совершенно. Успокоенная присутствием своей прислужницы, Маша не тронулась с места. Но бретёр весь затрепетал от прилива злости, глаза его съезжились; он стиснул кулаки и судорожно захохотал.

— Bravo! bravo! Умно — нечего сказать! — закричал он.

Маша остолбенела.

— Вы, я вижу, приняли все меры предосторожности, Марья Сергеевна? Осторожность никогда не мешает. Каково! В наше время барышни дальновиднее стариков. Вот тебе и любовь!

— Я не знаю, господин Лучков, кто вам дал право говорить о любви... о какой любви?

— Как кто? Да вы сами! — перебил ее Лучков, — вот еще! — Он чувствовал, что портит всё дело, но не мог удержаться.

— Я поступила необдуманно, — проговорила Маша, — Я снизошла на вашу просьбу в надежде на вашу délicatesse... да вы не понимаете по-французски — на вашу вежливость...

Авдей побледнел. Маша поразила его в самое сердце.

— Я не понимаю по-французски... может быть; но я понимаю... я понимаю, что вам угодно было смеяться надо мной...

— Совсем нет, Авдей Иванович... я даже? очень сожалею...

— Уж, пожалуйста, не толкуйте о вашем сожалении, — с запальчивостью перебил ее Авдей, — уж от этого-то вы меня избавьте!

— Господин Лучков...

— Да не извольте смотреть герцогиней... Напрасный труд! меня вы не запугаете.

Маша отступила шаг назад, быстро повернулась и пошла прочь.

— Прикажете вам прислать вашего друга, вашего пастушка, чувствительного Сердечкина, Кистера? — закричал ей вслед Авдей. Он теребил голову. — Уж не этот ли приятель?..

Маша не отвечала ему и поспешно, радостно удалялась. Ей было легко, несмотря на испуг и волнение. Она как будто пробудилась от тяжелого сна, из темной комнаты вышла на воздух и солнце... Авдей, как исступленный, посмотрел кругом, с молчаливым бешенством сломал молодое деревцо, вскочил на лошадь и так яростно вонзал в нее шпоры, так безжалостно дергал и крутил поводья, что несчастное животное, проскакав восемь верст в четверть часа, едва не издохло в ту же ночь...

Кистер напрасно до полуночи прождал Лучкова и на другой день утром сам отправился к нему. Денщик доложил Федору Федоровичу, что барин-де почивает и не велел никого принимать. «И меня не велел?» — «И ваше благородие не велел». Кистер с мучительным беспокойством прошелся раза два по улице, вернулся домой. Человек ему подал записку.

— От кого?

— От Перекатовых-с. Артемка-фалетор привез.

У Кистера задрожали руки.

— Приказали кланяться. Приказали ответа просить-с. Артемке прикажете дать водки-с?

Кистер медленно развернул записочку и прочел следующее:

«Любезный, добрый Федор Федорович!

Мне очень, *очень* нужно вас видеть. Приезжайте, если можете, сегодня. Не откажите мне в моей просьбе, прошу вас именем нашей старинной дружбы. Если б вы знали... да вы всё узнаете. До свидания — неправда ли?

Marie.

P. S. Непременно приезжайте сегодня».

— Так прикажете-с Артемке-фалетору поднести водки?

Кистер долго, с изумлением посмотрел в лицо своему человеку и вышел, не сказав ни слова.

— Барин приказал тебе водки поднести и мне приказал с тобой выпить, — говорил Кистеров человек Артемке-фалетору.

IX

Маша с таким ясным и благодарным лицом пошла навстречу Кистеру, когда он вошел в гостиную, так дружелюбно и крепко стиснула ему руку, что у него сердце забилось от радости и камень свалился с груди. Впрочем, Маша не сказала ему ни слова и тотчас вышла из комнаты. Сергей Сергеевич сидел на диване и раскладывал пасьянс. Начался разговор. Не успел еще Сергей Сергеевич с обычным искусством навести стороною речь на свою собаку, как уже Маша возвратилась с шелковым клетчатым поясом на платье, любимым поясом Кистера. Явилась Ненила Макарьевна и дружелюбно приветствовала Федора Федоровича. За обедом все смеялись и шутили; сам Сергей

Сергеевич одушевился и рассказал одну из самых веселых проказ своей молодости, — причем он, как страус, прятал голову от жены.

— Пойдемте гулять, Федор Федорович, — сказала Кистеру Маша после обеда с тою ласковою властью в голосе, которая как будто знает, что вам весело ей покориться. — Мне нужно переговорить с вами о важном, важном деле, — прибавила она с грациозною торжественностью, надевая шведские перчатки. — Пойдешь ты с нами, тамап?

— Нет, — возразила Ненила Макарьевна.

— Да мы не в сад идем.

— А куда же?

— В Долгий луг, в рощу.

— Возьми с собой Танюшу.

— Танюша, Танюша! — звонко крикнула Маша, легче птицы выпорхнув из комнаты.

Через четверть часа Маша шла с Кистером к Долгому лугу. Проходя мимо стада, она покормила хлебом свою любимую корову, погладила ее по голове и Кистера заставила приласкать ее. Маша была весела и болтала много. Кистер охотно вторил ей, хотя с нетерпением ждал объяснений... Танюша шла сзади в почтительном отдалении и лишь изредка лукаво взглядывала на барышню.

— Вы на меня не сердитесь, Федор Федорович? — спросила Маша.

— На вас, Марья Сергеевна? Помилуйте, за что?

— А третьего дня... помните?

— Вы были не в духе... вот и всё.

— Зачем мы идем розно? Давайте мне вашу руку. Вот так... И вы были не в духе.

— И я.

— Но сегодня я в духе, не правда ли?

— Да, кажется, сегодня...

— И знаете, отчего? Оттого, что... — Маша важно покачала головой. — Ну, уж я знаю отчего... Оттого, что я с вами, — прибавила она, не глядя на Кистера.

Кистер тихонько пожал ее руку.

— А что ж вы меня не спрашиваете?... — вполголоса проговорила Маша.

— О чем?

— Ну, не притворяйтесь... о моем письме.

— Я ждал...

— Вот оттого мне и весело с вами, — с живостию перебила его Маша, — оттого, что вы добрый, нежный человек, оттого, что вы не в состоянии... parce que vous avez de la délicatesse¹. Вам это можно сказать: вы понимаете по-французски.

Кистер понимал по-французски, но решительно не понимал Маши.

— Сорвите мне этот цветок, вот этот... какой хорошенький! — Маша полюбовалась им и вдруг, быстро высвободив свою руку, с за-

¹ Оттого, что вам свойственна вежливость (франц.).

ботливой улыбкой начала осторожно вдевать гибкий стебелек в петлю Кистерова сюртука. Ее тонкие пальцы почти касались его губ. Он посмотрел на эти пальцы, потом на нее. Она кивнула головой, как бы говоря: можно... Кистер нагнулся и поцеловал кончики ее перчаток.

Между тем они приблизились к знакомой роше. Маша вдруг стала задумчивее и наконец замолчала совершенно. Они пришли на то самое место, где ожидал ее Лучков. Измятая трава еще не успела приподняться; сломанное деревцо уже успело завянуть, листочки уже начинали свертываться в трубочки и сохнуть. Маша посмотрела кругом и вдруг обратилась к Кистеру:

— Знаете ли вы, зачем я вас привела сюда?

— Нет, не знаю.

— Не знаете?.. Отчего вы мне ничего не сказали сегодня о вашем приятеле, господине Лучкове? Вы всегда его так хвалите...

Кистер опустил глаза и замолчал.

— Знаете ли, — не без усилия произнесла Маша, — что я ему назначила вчера... здесь... свиданье?

— Я это знал, — глухо возразил Кистер.

— Знали?.. А! теперь я понимаю, почему третьего дня... Господин Лучков, видно, поспешил похвастаться своей *победой*.

Кистер хотел было ответить...

— Не говорите, не возражайте мне ничего... Я знаю — он ваш друг; вы в состоянии его защищать. Вы знали, Кистер, знали... Как же вы не помешали мне сделать такую глупость? Как вы не выдрали меня за уши, как ребенка? Вы знали... и вам было всё равно?

— Но какое право имел я...

— Какое право!.. Право друга. Но и он ваш друг... Мне совестно, Кистер... Он ваш друг... Этот человек обошелся со мной вчера так...

Маша отвернулась. Глаза Кистера вспыхнули; он побледнел.

— Ну, полноте, не сердитесь... Слышите, Федор Федорыч, не сердитесь. Всё к лучшему. Я очень рада вчерашнему объяснению... именно объяснению, — прибавила Маша. — Для чего, вы думаете, я заговорила с вами об этом? Для того, чтоб пожаловаться на господина Лучкова? Полноте! Я забыла о нем. Но я виновата перед вами, мой добрый друг... Я хочу объясниться, попросить вашего прощенья... вашего совета. Вы приучили меня к откровенности; мне легко с вами... Вы не какой-нибудь господин Лучков!

— Лучков неловок и груб, — с трудом выговорил Кистер, — но...

— Что *но*? Как вам не стыдно говорить *но*? Он груб, *и* неловок, *и* зол, *и* самолюбив... Слышите: *и*, а не *но*.

— Вы говорите под влиянием гнева, Марья Сергеевна, — грустно промолвил Кистер.

— Гнева? Какого гнева? Посмотрите на меня: разве так гnevаются? Послушайте, — продолжала Маша, — думайте обо мне что вам угодно... но если вы воображаете, что я сегодня кокетничаю с вами из мести, то... то... — слезы навернулись у ней на глазах, — я рассержусь не шутя.

— Будьте со мной откровенны, Марья Сергеевна...

— О глупый человек! О недогадливый! Да взгляните на меня, разве я не откровенна с вами, разве вы не видите меня насквозь?

— Ну, хорошо... да; я верю вам, — с улыбкой продолжал Кистер, видя, с какой заботливой настойчивостью она ловила его взгляд. — Ну, скажите же мне, что вас побудило назначить свидание Лучкову?

— Что? сама не знаю. Он хотел говорить со мной наедине. Мне казалось, что он всё еще не имел время, случая высказаться. Теперь он высказался! Послушайте: он, может быть, необыкновенный человек, но он — глуп, право... Он двух слов сказать не умеет. Он — просто невежлив. Впрочем, я даже не очень его виню... он мог подумать, что я ветреная, сумасшедшая девчонка. Я с ним почти никогда не говорила... Он, точно, возбуждал мое любопытство, но я воображала, что человек, который заслуживает быть вашим другом...

— Не говорите, пожалуйста, о нем как о моем друге, — перебил ее Кистер.

— Нет! нет, я не хочу вас рассорить.

— О боже мой, я для вас готов пожертвовать не только другом, но и... Между мной и господином Лучковым всё кончено! — поспешно прибавил Кистер.

Маша пристально взглянула ему в лицо.

— Ну, бог с ним! — сказала она. — Не станемте говорить о нем. Мне вперед урок. Я сама виновата. В течение нескольких месяцев я почти каждый день видела человека доброго, умного, веселого ласкового, который... — Маша смешалась и замешкалась, — который, кажется, меня тоже... немного... жаловал... и я, глупая, — быстро продолжала она, — предпочла ему... нет, нет, не предпочла, а...

Она потупила голову и с смущением замолчала.

Кистеру становилось страшно. «Быть не может!» — твердил он про себя.

— Марья Сергеевна! — заговорил он наконец.

Маша подняла голову и остановила на нем глаза, отягченные непролитыми слезами.

— Вы не угадываете, о ком я говорю? — спросила она.

Едва дыша, Кистер протянул руку. Маша тотчас с жаром схватилась за нее.

— Вы мой друг по-прежнему, не правда ли?.. Что ж вы не отвечаете?

— Я ваш друг, вы это знаете, — пробормотал он.

— И вы не осуждаете меня? Вы простили мне?.. Вы понимаете меня? Вы не смеетесь над девушкой, которая накануне назначила свидание одному, а сегодня говорит уже с другим, как я говорю с вами... Не правда ли, вы не смеетесь надо мною?.. — Лицо Маши рдело; она обеими руками держалась за руку Кистера...

— Смеяться над вами, — отвечал Кистер, — я... я... да я вас люблю... я вас люблю, — воскликнул он.

Маша закрыла себе лицо.

— Неужели ж вы давно не знаете, Марья Сергеевна, что я люблю вас?

X

Три недели после этого свиданья Кистер сидел один в своей комнате и писал следующее письмо к своей матери:

«Любезная матушка!

Спешу поделиться с вами большой радостью: я женюсь. Это известие вас, вероятно, только потому удивит, что в прежних моих письмах я даже не намекал на такую важную перемену в моей жизни, — а вы знаете, что я привык делиться с вами всеми моими чувствами, моими радостями и печалью. Причины моего молчания объяснить вам легко. Во-первых, я только недавно сам узнал, что я любим; а во-вторых, с моей стороны, я тоже недавно почувствовал всю силу собственной привязанности. В одном из первых моих писем отсюда я вам говорил о Перекатовых, наших соседях; я женюсь на их единственной дочери Марии. Я твердо уверен, что мы оба будем счастливы; она возбудила во мне не мгновенную страсть, но глубокое, искреннее чувство, в котором дружба слилась с любовью. Ее веселый, кроткий нрав вполне соответствует моим наклонностям. Она образованна, умна, прекрасно играет на фортепьяно... Если б вы могли ее видеть!! Посылаю вам ее портрет, мною нарисованный. Нечего, кажется, и говорить, что она во сто раз лучше своего портрета. Маша вас уже любит, как дочь, и не дожидается дня свидания с вами. Я намерен выйти в отставку, поселиться в деревне и заняться хозяйством. У старика Перекатова чetyреста душ в отличном состоянии. Вы видите, что и с этой, материальной, стороны нельзя не похвалить моего решения. Я беру отпуск и еду в Москву и к вам. Ждите меня недели через две, не более. Милая, добрая маменька — как я счастлив!.. Обнимите меня...» и т. д.

Кистер сложил и запечатал письмо, встал, подошел к окну, вынул трубку, подумал немного и вернулся к столу. Он достал небольшой листок почтовой бумаги, тщательно обмакнул перо в чернила, но долго не начинал писать, хмурил брови, поднимал глаза к потолку, кусал конец пера... Наконец, он решился — и в течение четверти часа сочинил следующее послание:

«Милостивый государь
Авдей Иванович!

Со дня вашего последнего посещения (то есть в течение трех недель) вы мне не кланяетесь, не говорите со мной и как бы избегаете моей встречи. Всякий человек, бесспорно, в своих поступках волен; вам угодно было прекратить наше знакомство — и я, поверьте, не обращаюсь к вам с жалобой на вас же самих; я не намерен и не привык навязываться кому бы то ни было; мне довольно сознания моей правоты. Я пишу к вам теперь — по чувству долга. Я сделал предложение Марье Сергеевне Перекатовой и получил ее согласие, а также и согласие ее родителей. Сообщаю это известие — прямо и непосредственно вам, для избежания всяких недоразумений и подозрений. Откровенно признаюсь вам, м. г., что я не могу слишком заботиться о мнении че-

ловека, который сам не обращает малейшего внимания на мнения и чувства других людей, и пишу к вам единственно потому, что в этом случае я не хочу даже подать вида, как будто поступал или поступаю украдкой. Смею сказать: вы меня знаете — и не припишете моего те-перешнего поступка какому-нибудь другому, дурному чувству. В последний раз говоря с вами, не могу не пожелать вам, в память нашей прежней дружбы, всех возможных земных благ.

С истинным уважением остаюсь, м. г.,
ваш покорный слуга
Федор Кистер».

Федор Федорович отправил эту записку по адресу, оделся и велел заложить себе коляску. Веселый и беззаботный, ходил он, напевая, по своей комнатке, подпрыгнул даже раза два, свернул тетрадь романсов в трубочку и перевязал ее голубой ленточкой... Дверь отворилась — и в сюртуке, без эполет, с фуражкой на голове, вошел Лучков. Изумленный Кистер остановился среди комнаты, не доделав розетки.

— Вы женитесь на Перекатовой? — спросил спокойным голосом Авдей.

Кистер вспыхнул.

— Милостивый государь, — начал он, — входя в комнату, порядочные люди снимают шапку и здороваются.

— Извините-с, — отрывисто возразил бретёр и снял фуражку. — Здравствуйте.

— Здравствуйте, господин Лучков. Вы меня спрашиваете, женюсь ли я на девице Перекатовой? Разве вы не прочли моего письма?

— Я ваше письмо прочел. Вы женитесь. Поздравляю.

— Принимаю ваше поздравление и благодарю вас. Но я должен ехать.

— Я желал бы объясниться с вами, Федор Федорыч.

— Извольте, с удовольствием, — отвечал добряк. — Я, признаться, ждал этого объяснения. Ваше поведение со мной так странно, и я, с своей стороны, кажется, не заслуживал... по крайней мере не мог ожидать... Но не угодно ли вам сесть? Не хотите ли трубки?

Лучков сел. В его движениях замечалась усталость. Он повел усами и поднял брови.

— Скажите, Федор Федорыч, — начал он наконец, — зачем вы так долго со мной притворялись?

— Как это?

— Зачем вы прикидывались таким... безукоризненным созданием, когда вы такой же человек, как и все мы, грешные?

— Я вас не понимаю... Уж не оскорбил ли я вас чем-нибудь?..

— Вы меня не понимаете... положим. Я постараюсь говорить яснее. Скажите мне, например, откровенно: давно вы чувствовали расположение к девице Перекатовой или воспылали страстью внезапной?

— Я бы не желал говорить с вами, Авдей Иванович, о моих отношениях к Марье Сергеевне, — холодно отвечал Кистер.

— Так-с. Как угодно. Только вы уж сделайте одолжение, позвольте мне думать, что вы меня дурачили.

Авдей говорил очень медленно и с расстановкой.

— Вы не можете этого думать, Авдей Иваныч; вы меня знаете.

— Я вас знаю?.. кто вас знает? Чужая душа — темный лес, а товар лицом показывается. Я знаю, что вы читаете немецкие стихи с большим чувством и даже со слезами на глазах; я знаю, что на стенах своей квартиры вы развесили разные географические карты; я знаю, что вы содержите свою персону в опрятности; это я знаю... а больше я ничего не знаю...

Кистер начал сердиться.

— Позвольте узнать, — спросил он, наконец, — какая цель вашего посещения? Вы три недели со мной не кланялись, а теперь пришли ко мне, кажется, с намерением трунить надо мной. Я не мальчик, милостивый государь, и не позволю никому...

— Помилуйте, — перебил его Лучков, — помилуйте, Федор Федорович, кто осмелится трунить над вами? Я, напротив, пришел к вам с покорнейшей просьбой; а именно: сделайте милость, растолкуйте мне *ваше* поведение со мной. Позвольте спросить: не вы ли насильно меня познакомили с семейством Перекатовых? Не вы ли уверяли вашего покорного слугу, что он расцветет душой? Не вы ли, наконец, свели меня с добродетельной Марьей Сергеевной? Почему же мне не предполагать, что *вам* я обязан тем последним, приятным объяснением, о котором вас уже, вероятно, надлежащим образом известили? Жениху ведь невеста всё рассказывает, особенно свои *невинные* проделки. Почему же мне не думать, что по вашей милости мне наклеили такой великолепный нос? Вы ведь такое принимали участие в моем «расцветанье»!

Кистер прошелся по комнате.

— Послушайте, Лучков, — сказал он, наконец, — если вы действительно, не шутя, убеждены в том, что вы говорите, — чему я, признаюсь, не верю, — то позвольте вам сказать: стыдно и грешно вам так оскорбительно толковать мои поступки и мои намерения. Я не хочу оправдываться... Я обращаюсь к вашей собственной совести, к вашей памяти.

— Да; я помню, что вы беспрестанно перешептывались с Марьей Сергеевной. Сверх того, позвольте мне опять-таки спросить у вас: не были ли вы у Перекатовых после известного разговора со мной? После этого вечера, когда я, как дурак, разболтался с вами, с моим лучшим другом, о назначенном свиданье?

— Как! вы подозреваете меня в...

— Я ни в чем не подозреваю другого, — с убийственной холодностью прервал его Авдей, — в чем я самого себя не подозреваю; но я также имею слабость думать, что другие люди не лучше меня.

— Вы ошибаетесь, — с запальчивостью возразил Кистер, — другие люди лучше вас.

— С чем честь имею их поздравить, — спокойно заметил Лучков, — но...

— Но, — прервал его в свою очередь раздосадованный Кистер, — вспомните, в каких выражениях вы мне говорили об... этом свиданье, о... Впрочем, эти объяснения ни к чему не поведут, я вижу... Думайте обо мне, что вам угодно, и поступайте, как знаете.

— Вот этак-то лучше, — заметил Авдей. — Насилу-то заговорили откровенно.

— Как знаете! — повторил Кистер.

— Я понимаю ваше положение, Федор Федорыч, — с притворным участием продолжал Авдей. — Оно неприятно, действительно неприятно. Человек играл, играл роль, и никто не замечал в нем актера; вдруг...

— Если б я мог думать, — перебил его, стиснув зубы, Кистер, — что в вас говорит теперь оскорбленная любовь, я бы почувствовал к вам сожаленье; я бы извинил вас... Но в ваших упреках, в ваших клеветах слышится один крик уязвленного самолюбия... и я не чувствую к вам никакой жалости... Вы сами заслужили вашу участь.

— Фу ты, боже мой, как говорит человек! — заметил вполголоса Авдей. — Самолюбие, — продолжал он, — может быть; да, да, самолюбие во мне, как вы говорите, уязвлено глубоко, нестерпимо. Но кто же не самолюбив? Не вы ли? Да; я самолюбив и, например, никому не позволю сожалеть обо мне...

— Не позволите? — гордо возразил Кистер. — Что за выражение, милостивый государь! Не забудьте: связь между нами разорвана вами самими. Прошу вас обращаться со мной, как с посторонним человеком.

— Разорвана! Связь разорвана! — повторил Авдей. — Поймите меня: я с вами не кланялся и не был у вас из сожаления к вам; ведь вы позволите мне сожалеть о вас, коли вы обо мне сожалеете!.. Я не хотел поставить вас в ложное положение, возбудить в вас угрызение совести... Вы толкуете о нашей связи... как будто бы вы могли остаться моим приятелем по-прежнему после вашей свадьбы! Полноте! Вы и прежде-то со мной знались только для того, чтоб тешиться вашим мнимым превосходством...

Недобросовестность Авдея утомляла, возмущала Кистера.

— Прекратимте такой неприятный разговор! — воскликнул он наконец. — Я, признаюсь, не понимаю, зачем вам угодно было ко мне пожаловать.

— Вы не понимаете, зачем я к вам пришел? — с любопытством спросил Авдей.

— Решительно не понимаю.

— Не...ет?

— Да говорят вам...

— Удивительно!.. Это удивительно! Кто бы этого ожидал от человека с вашим умом!

— Ну, так извольте ж объясниться, наконец...

— Я пришел, господин Кистер, — проговорил Авдей, медленно поднимаясь с места, — я пришел вас вызвать на дуэль, понимаете ли вы?

Я хочу драться с вами. А! Вы думали так-таки от меня отделаться! Да разве вы не знали, с каким человеком имеете дело? Позволил ли бы я...

— Очень хорошо-с, — холодно и отрывисто перебил его Кистер. — Я принимаю ваш вызов. Извольте прислать ко мне вашего секунданта.

— Да, да, — продолжал Авдей, которому, как кошке, жаль было так скоро расстаться с своей жертвой, — я, признаться, с большим удовольствием наведу завтра дуло моего пистолета на ваше идеальное и белокурое лицо.

— Вы, кажется, ругаетесь после вызова, — с презрением возразил Кистер. — Извольте идти. Мне за вас совестно.

— Известное дело: деликатесс!.. А, Марья Сергеевна! я не понимаю по-французски! — проворчал Авдей, надевая фуражку. — До приятного свидания, Федор Федорыч!

Он поклонился и вышел.

Кистер несколько раз прошелся по комнате. Лицо его горело, грудь высоко поднималась. Он не робел и не сердился; но ему гадко было подумать, какого человека он считал некогда своим другом. Мысль о поединке с Лучковым его почти радовала. Разом отделаться от своего прошедшего, перескочить через этот камень и поплыть потом по безмятежной реке... «Прекрасно, — думал он, — я завоюю свое счастье. — Образ Маши, казалось, улыбался ему и сулил победу. — Я не погибну! нет, я не погибну!» — твердил он с спокойной улыбкой. На столе лежало письмо его к матери... Сердце в нем сжалось на мгновение. Он решил на всякий случай подождать отсылкой. В Кистере происходило то возвышение жизненной силы, которое человек замечает в себе перед опасностью. Он спокойно обдумывал все возможные последствия поединка, мысленно подвергал себя и Машу испытаниям несчастья и разлуки — и глядел на будущее с надеждой. Он давал себе слово не убить Лучкова... Неотразимо влекло его к Маше. Он сыскал секунданта, наскоро устроил свои дела и тотчас после обеда уехал к Перекатовым. Весь вечер Кистер был весел, может быть, слишком весел.

Маша много играла на фортепьянах, ничего не предчувствовала и мило с ним кокетничала. Сперва ее беспечность огорчала его, потом он эту самую беспечность Маши принял за счастливое предсказание — и обрадовался и успокоился. Она с каждым днем более и более к нему привязывалась; потребность счастья в ней была сильнее потребности страсти. Притом Авдей отучил ее от всех преувеличенных желаний, и она с радостью и навсегда отказалась от них. Ненила Макарьевна любила Кистера, как сына. Сергей Сергеевич, по привычке, подражал своей жене.

— До свидания, — сказала Кистеру Маша, проводив его до передней и с тихой улыбкой глядя, как он нежно и долго целовал ее руки.

— До свидания, — с уверенностью возразил Федор Федорович, — до свидания.

Но отъехав с полверсты от дома Перекатовых, он приподнялся в коляске и с смутным беспокойством стал искать глазами освещенные окна... В доме всё было уже темно, как в могиле.

XI

На другой день, в одиннадцатом часу утра, секунданта Кистера, старый, заслуженный майор, захал за ним. Добрый старик ворчал и кусал свои седые усы, сулил всякую пакость Авдею Ивановичу... Подали коляску. Кистер вручил майору два письма: одно к матери, другое к Маше.

— Это зачем?

— Да нельзя знать...

— Вот вздор! мы его подстрелим, как куропатку.

— Всё же лучше...

Майор с досадой сунул оба письма в боковой карман своего сюртука.

— Едем.

Они отправились. В небольшом лесу, в двух верстах от села Кириллова, их дождался Лучков с своим секундantom, прежним своим приятелем, раздушенным полковым адъютантом. Погода была прекрасная; птицы мирно чирикали; невдалеке от леса мужик пахал землю. Пока секунданты отмеривали расстояние, устанавливали барьер, осматривали и заряжали пистолеты, противники даже не взглянули друг на друга. Кистер с беззаботным видом прохаживался взад и вперед, помахивая сорванной веткой. Авдей стоял неподвижно, скрестя руки и нахмуря брови. Наступило решительное мгновение. «Начинайте, господа!» Кистер быстро подошел к барьеру, но не успел ступить еще пяти шагов, как Авдей выстрелил. Кистер дрогнул, ступил еще раз, зашатался, опустил голову... Его колени подогнулись... он, как мешок, упал на траву. Майор бросился к нему... «Неужели?» — шептал умирающий...

Авдей подошел к убитому. На его сумрачном и похуевшем лице выразилось свирепое, ожесточенное сожаление... Он поглядел на адъютанта и на майора, наклонил голову, как виноватый, молча сел на лошадь и поехал шагом прямо на квартиру полковника.

Маша... жива до сих пор.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

Хорь и Калиныч	7
Ермолай и мельничиха	15
Малиновая вода	23
Уездный лекарь	30
Мой сосед Радилев	36
Однодворец Овсяников	42
Льгов	54
Бежин луг	62
Касьян с Красивой Мечи	76
Бурмистр	89
Контора	99
Бирюк	112
Два помещика	117
Лебедянь	123
Татьяна Борисовна и ее племянник	132
Смерть	140
Певцы	149
Петр Петрович Каратаев	161
Свидание	172
Гамлет Шигровского уезда	178
Чертопханов и Недопюскин	196
Конец Чертопханова	208
Живые мощи	232
Стучит!	242
Лес и степь	252

РАССКАЗЫ

Три портрета	259
Жид	279
Три встречи	291
Яков Пасынков	312
Поездка в Полесье	341
Призраки	354
Довольно	376
Собака	384
История лейтенанта Ергунова	394
Бригадир	419

Странная история	435
Стук... стук... стук!	451
Часы	472
Сон	504
Рассказ отца Алексея	518
Отрывки из воспоминаний — своих и чужих	526
I. Старые портреты	527
II. Отчаянный	542
Перепелка	557

ПОВЕСТИ

Андрей Колосов	563
Бретёр	583
Петушков	617
Дневник лишнего человека	648
Муму.	684
Постоялый двор	704
Два приятеля	738
Затишье	781
Переписка	835
Фауст	857
Ася	887
Первая любовь	921
Несчастливая	967
Степной король Лир	1026
Вешние воды	1080
Пунин и Бабурин.	1179
Клара Милич (После смерти)	1220
Песнь торжествующей любви (MDXLII)	1260